

Вергасов И. Героические были из жизни крымских партизан

Книга о героизме крымских партизан, об их мужестве, упорстве в борьбе с врагом во время Великой Отечественной войны. Автор — бывший начальник штаба партизанского соединения, затем командир партизанского района в Крыму, сам прошёл нелёгкий путь партизана и правдиво запечатлел события тех дней.

СОДЕРЖАНИЕ

Григорий Бакланов. Книга о мужестве.....	3
«Мы, всем обществом...».....	4
«Туариш Тома».....	18
Филипп Филиппович	30
Диверсант-одиночка	39
Хорошая работа, Севастопольская	44
Большой «прочёс»	51

КНИГА О МУЖЕСТВЕ

Когда вы будете читать эту книгу, знайте, что всё рассказанное в ней — правда.

О партизанах столько уже написано, снято кино- и телефильмов, что невозможно никого и ничем удивить. И порою правда начинает казаться не столь героической, как вымысел. Пусть это не смутит вас. Поставьте себя на место тех людей, о которых написана книга, и вы поймёте, что каждый из них совершил, какой ценой далась нам победа.

Партизанское движение, как бы его хорошо ни подготавливали, возможно только тогда, когда народ сам поднимается на защиту своей Родины, когда он исполнен решимости и силы. Так было в годы Великой Отечественной войны, с самых первых дней её и часов. Не отдельные исключительные герои, а весь наш народ, сплочённый и единый перед грозной опасностью, показал небывалое величие духа. Он оказался той единственной силой в мире, которая остановила, разгромила фашистское нашествие, спасла человечество.

Коммунисты и беспартийные, мужчины, женщины, люди всех возрастов и национальностей, призванные в армию или освобождённые от воинской службы, шли защищать Родину.

Автор этой книги, Илья Захарович Вергасов, к началу войны был тяжело больным человеком, к службе в армии не годился. Но уже на другой день сам пришёл он в военкомат, а вскоре стал одним из руководителей партизанского движения в Крыму.

В условиях, в которых велась эта борьба, быть и оставаться руководителем могли только люди, обладавшие незаурядными качествами организаторов: мужеством, железным самообладанием и волей. Это следует сказать здесь ещё и потому, что книга «Героические были из жизни крымских партизан» написана с исключительным тактом и скромностью. Посвятив её своим товарищам, крымским партизанам, Илья Захарович Вергасов рассказывает в первую очередь о них, по возможности оставляя себя в тени.

Живые и погибшие, о ком этот рассказ, достойно исполнили свой долг перед Родиной. Будьте и вы такими же преданными её дочерьми и сыновьями.

Григорий Бакланов

«МЫ, ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ...»

На подступах к Севастополю шли ожесточённые бои. Немецкие полки рвались в южную цитадель страны, таранили её оборону танками, самолётами, пьяными атаками отборных эсэсовских батальонов... Одна атака следовала за другой, а в промежутках между ними без устали работала артиллерия, сотрясая воздух над всей крымской грядой.

В километрах тридцати от линии боёв, восточнее, в узле горного кряжа, раскинула свои белые хатёнки деревушка Лаки. Вокруг неё стояла первозданная тишина, лишь изредка нарушаемая татаканьем пулемётов, доносившимся из синеющих далей крымской яйлы, на склонах которой боролись с врагом партизанские отряды.

Первые немцы в деревушке появились неожиданно, потолкались на площадке возле колхозного клуба, потом потребовали вина, напились, настреляли кур и убрались в Бахчисарай. Но однажды в промозглое зимнее утро серая машина, напоминавшая гроб, поставленный на четыре колеса, резко затормозила у дома председателя лакского колхоза Владимира Лёли, человека внешне спокойного, немногословного.

— Твоя Лака партизан иесть? — спросил толстоватый фельдфебель, молодцевато выскакивая из машины.

— Откуда им взяться, господин офицер. Место тихое, мирное, — ответил председатель, покорно уставившись на незваного гостя.

— Колхоз гут и ниет партизан, а?

— Колхоз хороший, что верно, то верно, а вот партизан нет, бог миловал, — развёл руками Лёли, будто сожалея, что ничего другого сказать не может.

Немец оглянулся и в сопровождении полица из Керменчика — соседнего большого села — обошёл постройки, заглянул в парники. Под зубами его хрустнул спелый огурец, сорванный с грядки. Побывал на скотном дворе, по-хозяйски приговаривая: «Хорошо, гут, очень хорошо». Вдруг повернулся к председателю, ткнул пальцем в его грудь:

— Ты иесть кто?

— Местный житель, колхозник, значит.

Вмешался полица; скаля зубы, сказал:

— Чего мелешь? Всем известно, что ты председатель.

Фельдфебель насупился:

— Это иесть правта?.. Глас умный, хосяин, да?

— Мы все хозяева.

— Нет! Ты бутешь староста. Понимай? Бургомистр, майн готт!

— Куда уж мне в начальство, господин офицер. И ноги у меня...

— Нет! Ты еьть назначенный немецким командованием староста. Саботаж — фьют! — Фельдфебель щёлкнул пальцами под носом у

председателя и, указывая на дальние горы, с которых сошла утренняя мгла, спросил: — Там иесть партизан?

— Партизан там, — услужливо показал полицай на горную гряду, покрытую чёрным сосняком.

Машина скрылась за поворотом. Лёли натянул шапку на самые глаза, сплюнул и с шумом закрыл за собой калитку.

Бухгалтер колхоза Григорий Александрович, в потёртой вельветовой куртке, бледнолицый, с реденькой выцветшей бородёнкой, в последние дни с утра до вечера сидел в правлении колхоза, ворочал толстые конторские книги, что-то считал и пересчитывал.

После отъезда фельдфебеля, за каждым шагом которого следил сквозь невымытое окошко, он оделся, подхватил под мышки счёты, папку, вышел из правления — и напрямиком к председателю.

Тот встретил его суховато — он не особенно доверял старичку, из которого слово вытянуть, что с глубокого колодца ведро с полной водой поднять. Терялся в догадках: «Что его принесло?»

Сели за стол, выпили по стакану домашнего вина. Старик, приложив руку к уху, прислушался:

— Гудит, ась?

— Гудит, — равнодушно согласился Лёли.

— Севастополь, значит, орешек... того, а?

— А вам не в радость?

— Это почему же?

— Ладно, Григорий Александрович. Что привело вас ко мне? Теперь так, запросто, в гости не ходят — не те времена.

— Что так, то так. У меня вопрос: вы знаете, сколько добра в колхозных кладовых? — сердито спросил Григорий Александрович.

— И что ж?

— Ждёте, пока вчистую выскребут, думаете, они минуют нашу глухомань? Ошибаетесь. — Бухгалтер поставил перед председателем счёты, прокуренным пальцем защёлкал костяшками: — Табак-дюбек, зерно, овцы, крупный рогатый скот... Да что я, хозяин, что ли? Душа у вас, у председателя, за всё это болит? — Бухгалтер поднял очки на лоб.

— Что ж вы предлагаете? — с волнением спросил Лёли.

Старик вытянул худую шею, посмотрел в окно, за которым в туманной дали угадывался большой лес.

— Бают, что в тех краях Николай Константинович Спаи — ваш первый заместитель. Говорят, что он в отряде Македонского, а?

Лёли ахнул: неужели перед ним тот самый человек, Кфо всегда и ото всех держался в стороне, кто не проявлял интереса к общественной жизни, кого на заседании правления-то не увидишь; только тогда показывал характер, когда нарушали заведённый им бухгалтерский порядок.

— Где Николай Константинович — не знаю, а за беспокойствие — спасибо.

Бухгалтер убрал счёты, поднялся и с прищуром посмотрел на председателя:

— Извините, но я-то думал, что у вас попонятливее голова, пообъемнее сердце. Прощайте.

— Пойдите! Виноват, признаюсь. Вы совершенно правы: наш Николай в партизанском отряде Македонского. Только вот беда — перестал наведываться к нам, — признался Лёли.

— Аль случилось там что?

— Лес горел — сами, наверное, наблюдали. Ума не приложу, куда ушёл отряд!

— Притих пока, и всё. Чего так горюешь? Придёт кто-нибудь, а как же иначе.

— Спасибо вам, Григорий Александрович.

— Как же будем решать? — тряхнул папкой бухгалтер.

— Соберёмся сегодня у меня, вечером. Прошу и вас.

— Буду, непременно буду.

В просторной председательской горнице сидели трое членов правления и колхозный бухгалтер. Пока Лёли обходил окраины деревни, выставляя тайных наблюдателей за двумя дорогами и всеми тропами вокруг деревни, судили и рядили о внезапном появлении фельдфебеля, толковали о боях под Севастополем, поругивали друг друга за скупость, за то, что не отдали продукты в лес или нашим частям во время их отступления. Пришёл председатель, вытер лохматой шапкой со лба пот, сказал:

— Послушаем нашего Григория Александровича.

Старик без лишних слов доложил: в колхозе много вина, дюбека-сырца — золото же! А в кошаре пятьсот голов овец, коровы, зерно, картофель. Всё лежит на виду, так, запросто, может фашист достать; дочиста выскребет и выгребет. Вот так-то!

С интересом слушали старичка, будто в первый раз говорил он перед ними.

Затем начался горячий спор. Разные мысли высказали, но в конце концов пришли к одному: срочно всё перепрятать. Табак затюковать — и в тайную пещеру, и вино туда же, но прежде перелить и обкурить серой. Отару овец, коров, быков, зерно и картофель — в пёс, партизанам.

Только где отряд, в каком лесу, в каком ущелье? Куда увёл боевые группы Македонский, по какой причине перестали показываться Никол-ка Спаи с Иваном Ивановичем Суполкиным — дорожным мастером. Ведь мужики приходили, глянешь на них — и на душе светло. А бывало, что и секретарь райкома, комиссар отряда Василий Ильич Чёрный, в деревню заглядывал, с народом говорил. От него узнали о разгроме немцев под Москвой, керченском и феодосийском десантах наших

войск. Аж дух захватывал! А ныне, когда особая нужда в партизанах, никого нет, как сквозь горы провалились.

...Зима заглянула в деревушку. Ранним утром серой массой с хребта сползли туманы и окутали всю окрестность.

Колхозный вестовой с первыми зорями гремел в окно:

— Выходи на работу!

— Ошалел, на кого работать?

— На Советскую власть.

Вечерами в низенькую правленческую контору заглядывал Лёли.

Проделав немало километров пешком по бригадам, табачным сараям, к пещерам и обратно, он присаживался за столик бухгалтера и, покуривая сигарку, слушал тихий голос Григория Александровича: столько-то дюбека затюковали, пропарили и обкурили бочки, перелили вина...

За неделю с главной работой справились. Добро легло на длительное хранение в сухую пещеру. Дорога туда — лабиринт, ежели не знаешь её — поди доберись.

Забегу вперёд: в 1944 году части Красной Армии, освободившие Крым, получили богатый дар лакских колхозников. Правда, открыли им это добро не те, кто зимой 1942 года прятал его.

Вскоре Лёли — «новоиспечённый бургомистр» — получил от бахчисарайского немецкого коменданта приказ: направить на ремонт качин-ской дороги пятнадцать крестьян. Приказ привезли фашисты с одним погоном на чёрных шинелях — эсэсовцы!

Под Севастополем продолжался тяжёлый бой, вокруг шастали немецкие «ягт-команды» — охотники за партизанами. Опасность надвигалась на Лаки.

Собирались в клубе. Решали: как же быть, как жить дальше?

Одни предлагали сжечь деревню и всем податься в лес. Но куда женщин, малышню, стариков? Другие советовали ждать, что будет дальше, жить тихо и мирно. Тут же у самих себя спрашивали: чего ждать? Пулю в спину или верёвку на шею.

Попросил слово бухгалтер. Многие колхозники с удивлением смотрели на человека, тихо идущего к трибуне. Старик сказал:

— Нам нельзя уподобляться героям крыловской басни о лебеде, раке и щуке. Мы всем обществом должны решать, вот так, граждане колхозники.

— Что конкретно предлагаете?

— Во-первых, слушать нашего председателя.

— Бургомистра, да?

— Человека! Пусть будет для вида бургомистр, а для дела — наш председатель. Надо хитрить с оккупантами, водить их за нос, уступить на алтын, а остаться при своём рубле. Пока суд да дело, надо срочно найти партизан, Македонского, значит.

— Ищи в поле ветра!

Григорий Александрович решительно поднял руку:

— Македонского лично знаю, да и в лесах тех бывал. Доверите — поищу!

Фельдфебель скоро снова появился в Лаках, на этот раз с отделением солдат полевой жандармерии и полицаями из Керменчика.

Войдя в председательский дом, немец по-хозяйски уселся за стол.

Подали закуску — холодную, залитую жиром, баранину, выставили несколько бутылок светлого вина. Лёли достал даже пахучий розмарин с бисеринками на кожуре.

— Гут, молодец! — потирая руки, смеясь, сказал фельдфебель, внимательно следя, однако, за лицом хозяина.

Долго и аппетитно ели солдаты, сплёвывали яблочную кожуру на чистый пол. Фельдфебель хвалил вино, поднял стакан:

— Севастополь капут! Солдат много — кушать много. Немецкий командований частный собственность нике... брать не имеет. Колхоз Лака богатый. Большой общественный фонд?

— Было много добра всякого, но эвакуировали, отдали Красной Армии. Так что, господин офицер, ничего нет.

— Почему нет? — Фельдфебель стукнул кулаком по столу, поднялся.

— Нам всё знать... Барашка, крава, шнапс, з-э... как? Дюбек, дюбек... Есть, да?

— Было, а сейчас нет. На нет и суда нет — так у нас говорят, — развёл руками Лёли.

Фельдфебель надвигался на него:

— Почему нет?

Они долго смотрели друг другу в глаза, солдаты перестали чавкать, полицейские, торчавшие у входных дверей, замерли.

— Ты коммунист... Партизан. Тебя — фьют!

Фельдфебель гаркнул солдатам и полицаям что-то по-немецки; те бросились к оружию и выбежали из председательского домика. Один с автоматом стал у дверей.

Прошло минут двадцать, может, больше.

Лёли спокойно уселся на табуретку, фельдфебель не спускал с него глаз.

Возвращались солдаты, докладывали, что в колхозных амбарах, лабазах лишь ветер гуляет. Фельдфебель подскочил к Лёли, разжал два коротких пальца:

— Два суток, два день, два ночь — двадцать пять коров, двести барашка, сто декалитров шнапс... А нет... — Он начертил в воздухе петлю, вскинул глаза наверх.

— Нет ничего, господин немец.

— Молчать! — Фельдфебель больно ткнул Лёли кулаком в скулу.

Лёли отшатнулся, в глазах его блеснула такая ненависть, что фельдфебель машинально положил руку на кобуру пистолета.

Владимир Лёли сумел сдержаться, сказал обыденно:

— Я готов сделать всё возможное, господин офицер, но если неоткуда взять. Попытаюсь что-то собрать.

Старая лесная дорога. По обочинам чёрный кустарник. Оттепель. На жёлто-буром снегу — ни единого следа. Тихо. Журчит талая вода.

Оглядываясь по сторонам, устало влачит ноги путник: маленький, согбленный, с кизиловой палкой в руках.

Часовой, притаившись в густых зарослях кизильника, внимательно следит за ним, ещё не решаясь остановить этого странного, неожиданно появившегося в партизанском лесу человека.

Дорога пересечена натопанной тропой. Путник нагнулся, стал пристально всматриваться.

— Стой! Руки вверх, папаша! — Паренёк в стёганке наставил автомат.

— Убери-ка свою штучку. Скажи, сынок, ты партизан? — устало спросил старик, глядя пареньку в глаза.

...Старика долго вели по тропке, которая то падала в русло шумной речушки, то круто взбиралась на перевал. Наконец-то она спокойно потекла по тёмному лесу, закрывшему небо.

Привели задержанного к штабному шалашу, пошли докладывать командиру.

Из шалаша вышел мужчина средних лет с плотной короткой шеей, весь сбитый, посмотрел на задержанного:

— Ба, Григорий Александрович! Вы ли, господи! Вот это гость, братцы!

— Македонский, товарищ Македонский! — Старик чуть не упал. — Это я, видишь, я! — Старик обнял командира, прослезился.

— Да что с вами, какая беда привела, Григорий Александрович?

— Уж отчаялся найти, уж совсем пропадал...

Михаил Андреевич Македонский — командир боевого Бахчисарайского отряда поил чайком бывшего своего учителя на бухгалтерских курсах. Старик пил, хвалил кизилковый настой и смотрел на Македонского, на его смуглое, дышавшее силой лицо.

— Не забыл курсы? Я и тогда говорил: «Путного бухгалтера из тебя не получится».

— Работал же, — улыбнулся Македонский.

— А как, милостивый государь? Без огонька?..

— Это всё прошлое. А вот неожиданность — встретить вас, в лесу. Вы же по Бахчисараю ночью боялись ходить.

— Боялся, куда как... Да меня щелчком свалить — нехитрое дело... И сейчас боюсь. За пять суток блуждания такого труса дал, что под конец перестал соображать, где страх, а где нет. Следов-то ваших не найдёшь.

— А нам нельзя их оставлять.

— Шёл, куда ноги несли. Без вас нам, Мишенька, нельзя, никак невозможно. Мы, всем обществом, решили, слушай...

В тёмную зимнюю ночь партизанский отряд в полном составе поднялся из Большого леса и тихо-тихо перебрался через дорогу Бешуй-Бахчисарай, распутал тропы горного кряжа и на рассвете залёг в густом подлеске в двух километрах от Лак.

В окошко председательского домика настойчиво постучались.

— Кто? — вскочил с кровати Лёли; набрасывая на себя тёплый пиджак, подошёл к дверям.

— Свои. Это я, Григорий Александрович! Слышишь меня?

— Вернулся, наконец-то!

— Принимай гостей! — Бухгалтер пропустил вперёд закутанного в плащ-палатку широкоплечего человека.

— Как живёт-поживает председатель лакского колхоза товарищ Лёли? — забасил тот смеясь.

— Македонский! Ай да молодец! — У Лёли кровь прилила к лицу от радости.

Вошёл ещё человек в плотной командирской шинели, в постолах, аккуратно пригнанных. Моложавый, с усиками, с глазами, в которых столько лукавства, сколько и озорства.

— Василий Ильич, товарищ Чёрный! — ахнул Лёли.

— Так-то принимаешь секретаря райкома партии, товарищ председатель, — засмеялся Василий Ильич.

Они знали друг друга давно, встречались в районном центре: на активах, на заседаниях в райкоме; часто шагали по табачным плантациям, переругивались по телефону, но вряд ли чувствовали такую близость между собой, какую чувствовали в эту минуту.

Большие дела немногословны.

Решили срочно, сейчас же начать перегон скота за Басман-гору — в главный партизанский район. Сухие фрукты, оставшийся табак, несколько бочек вина — в отряд. А фельдфебелю замазать глаза: собрать коровёнок потощее, немного вина отвалить, два десятка овец — пусть подавятся!

Увлечлись, прикидывали, кого куда зачислить. Может, создать из лакских мужиков отдельную партизанскую группу?

Комиссар Чёрный вдруг заявил:

— Пойдите, с другого начинать надо. Куда народ девать?

— Не будем предугадывать события, торопить их, — сказал Македонский. — В отряд не зачислишь же.

Григорий Александрович взял сторону комиссара:

— О людях подумать надо. Предлагаю утром же начать эвакуацию. Стариков, женщин, ребятишек из деревни в степи, к дальним родственникам, на Тарханкут, куда немец не часто заглядывает.

Началась эвакуация всех и всего, что жило, находилось преспокойно в деревушке, лежавшей вдали от главных дорог. По пропускам, добытым Лёли — тут он не стеснялся пользоваться правами бургомистра, — многие семьи покидали родные места. Не всё шло гладко: были слёзы, возникали конфликты: «Никуда не уеду, тут помирать буду!», но деревня постепенно прощалась с теми, кто мог быть лишним при крайних обстоятельствах.

Они, обстоятельства эти, не заставили себя ждать. Даже слишком поторопились.

Фельдфебель появился в Лаках с офицером — бледным, моложавым, с хлыстом. Сопровождал его толстенький напудренный капитан — румын в четырёхугольной фуражке с высоким козырьком. Вся эта компания осматривала деревню. Водил их Лёли, рядом семенил Григорий

Александрович с инвентарными книгами, истребованными моложавым немцем.

— Всё показывать! — приказал офицер на чистом русском языке.

— Нам нечего утаивать, господа хорошие. Скот угнали, вино эвакуировали. Как и повсюду. Да и колхоз небольшой, всего дворов-то...

Офицер подошёл поближе к председателю, сказал:

— Довольно, господин бургомистр. Ваш колхоз мне знаком. Кстати, на Мс«э»ивской сельскохозяйственной выставке, на вашем колхозном стенде вы выглядите гораздо моложе. А чтобы никаких недоразумений между нами не было, информирую: я местный — агроном из Фрайдорфа. Надеюсь, вам знакома колония немецкая на севере Крыма? Так вот, мне нужна правда!

Лёли подвёл «гостей» к лабазу, показал на то, что было отобрано для фельдфебеля:

— Всё, чем мы располагаем, господа!

Офицер из Фрайдорфа даже не взглянул на то, что показывал председатель, остановился у правления, сказал улыбающемуся румынскому капитану:

— Деревня вполне обеспечит всем необходимым ваше подразделение. Вы согласны на дислокацию?

Тот поддакивал, но, видно, ничему не верил. Немец повернулся к Лёли:

— Чтобы всё было: хлеб, вино, мясо, табак и прочее, и прочее.

— Но, пожалуйста, господин офицер...

— Молчать! Я знаю, что ты коммунист, но также знаю, что расчётливый хозяин, — Немного подумав, немец добавил: — И не такой болван, чтобы на верёвке болтаться. И знайте: мне точно известно, что большевики из вашего колхоза ничего не взяли. Всё, господин бургомистр.

Немцы уехали.

Население почти полностью эвакуировалось. Македонский вывел отряд из Большого леса и привёл его поближе к деревне. Днём прятал его в кустах, а вечерами...

Ночёвка под крышей почти несбыточная мечта крымского партизана. Бахчисарайцы стирали бельё, мылись, брились, чинили обувь, кроили и шили постолы из сыромятной кожи.

На рассвете тайком уходили летучие боевые группы на операции. Они рушили мосты, налетали на отдельные немецкие машины.

Немцы никак не могли понять, откуда берутся партизаны и куда они исчезают после операции. Все тропы, ведущие в Большой лес, под неусыпным наблюдением. Ни одна живая душа там не появляется, а машины летят в воздух, гибнут солдаты, старосты, полицаи.

В деревню прибыла небольшая румынская команда во главе с унтером — квартиреры.

Солдаты, усталые, грязные, обовшивевшие, ругали фашистов и своего «вождя» Антонеску; ели, пили вино и не замечали, а может, не хотели

замечать вооружённых партизан, как у себя дома ночами разгуливающих по деревне.

Прибыла румынская рота во главе с напудренным капитаном. Начались повальные обыски — -разумеется, безрезультатные. Капитан отчаянно ругался, бил солдат, особенно унтера, который так и не протрезвел и в полубеспамятстве был отправлен под арест.

На рассвете из отряда прибежал Николай Спаи:

— Уходите! Немцы, эсэсовцы! Уходите!

Бегали по домам, предупреждали тех, кто ещё был в деревне. Кто-то успел убежать, а кто-то и нет. Каратели нагрянули на трёх машинах, командовал ими бывший фрайдорфский агроном.

Задержанных загнали в клуб, выстроили у белой стены. Офицер прошёлся вдоль строя — туда и обратно, потом подошёл к Лёли, стоявшему на правом фланге:

— Где скот? Почему пустые закрома? Где, наконец, народ?

Лёли ответил спокойно:

— Народа нет. Да разве его удержишь...

Офицер смотрел в глаза председателю:

— Арестовать! — и ударил Лёли хлыстом.

Подошёл к черноусому Спаи:

— Партизан? Арестовать... И этого. — Кончик его хлыста упал на плечо Григория Александровича. Отошёл, приказал, показывая на молчаливых людей, стоящих у стены: — А этих — расстрелять!

Арестованных погнали по старой лесной дороге в Керменчик. А в деревне за их спинами строчили немецкие автоматы, кричали люди... Чёрный дым потянулся от Лак по всему хребту, запахло гарью.

Маленький узкогрудый бухгалтер не спеша шёл между богатырями Лепи и Спаи — рослыми, плечистыми. Дорога круто взяла вправо, Керменчик... Там комендатура, гестапо, полицаи. Уже виднелся старый минарет с серебристым серпом.

Старик прошептал:

— Вам надо непременно бежать. Я отвлеку их на себя, устрою прощальный концерт, а вы в лес, в лес...

— А вы, Григорий Александрович? — Лёли сжал стариковскую руку.

— Я старше вас, и делайте, что прошу, требую наконец!

Дорога пошла вниз. Старик рванулся вперёд, упал и оглашенно закричал:

— Ой, не убивайте, не убивайте... Не хочу, не хочу... Жить, жить, — забился в истерике.

Конвойные остановились, оторопев. Начали пинать старика ногами. Возле Спаи остался солдат, да и тот смотрел, как на земле бьётся старикашка. Спаи ударил его в живот, Лёли — другого, бросившегося на помощь своему однополчанину. Прыгнув в ущелье, Лёли догонял Николая.

Первая пуля попала в председателя, вторая прожгла руку Николая Спаи, но они не останавливались, истекая кровью, бежали и добрались до горы Татар-Ялга, где стоял партизанский пост.

Македонский навстречу:

— Николай, Володя!

— Беда, командир... Сожгли нашу деревню, поубивали всех, кого поймали, убили нашего Григория Александровича.

— Нет, его увели, точнее, поволокли, — сквозь зубы сказал Лёли, зажимая рану рукой.

— Выручать надо, Михаил Андреевич, — умолял Спаи.

— Дуся, перевяжи раны! — приказал Македонский.

Спаи неожиданно рванулся:

— Надо спасать Григория Александровича!

Македонский остановил его:

— Приказываю здесь я. Дуся, перевязывай. Суполкин, Бережной, держите Николку.

Партизанка Дуся — разведчица, медсестра, повариха, диверсантка. Неистовая, часто попадавшая в беду. После того как в лесу стало известно, что немцы уничтожили всю семью комиссара отряда Чёрного, она, что называется, стала срываться. Пошлют, бывало, на обыкновенную разведку, Дуся разведает, много увидит — глазастая. Но, возвращаясь в отряд, непременно подкараулит где-нибудь немца, швырнёт в него гранату 1 — и была такова. Переполох на весь край. Комиссар однажды простил ей, но когда она повторила то же самое, категорически приказал:

— На кухню, держать там, пока ума не наберётся!

На кухне у Дуси не ладилось, то каша пригорит, то такую горечь на пищу напустит, что и на голодный желудок в горло её не пропихнёшь.

Больше всех её жалел отрядный разведчик Иван Иванович Суполкин, друг по Бахчисараю. Обещал заступиться, пошёл к комиссару:

— Боевая жёнка, ведь томится, Василий Ильич.

— Нет! — отмахнулся Чёрный.

Плакала Дуся, а потом перебила тарелки:

— Нехай, антихристы, лопают с общих котелков!

Дуся всю жизнь должна была кого-то жалеть. Жалела слабых, кому винтовка на марше казалась целой пушкой: «Давай маленько поднесу». Тащила сумку, автомат, пулемётные диски, кухонную посуду и не жаловалась.

Когда появился в отряде Григорий Александрович, Дусяно сердце приголубило и его. На переходах через речки Дуся брала старика в охапку, переносила на другой берег, ругалась: «Таких людей губят, сволочи!» Кто был «сволочи» — понимай как хочешь.

Перевязала Дуся раны мужикам, пришла к Македонскому в слезах.

— Чего тебе?

— Пусти, командир, в Керменчик. Старика жалко.

— Только нашумишь.

— Нешто не понимаю — никак нельзя!

— Тебя там знают?

— Ни одна душа, от перекрещусь!

— Смотри мне. Только узнай, поняла?

— Я в один момент!

Керменчик лежал в седловине гор между двумя грядами, уходящими в долины — Каминскую и Бельбекскую. От села во все стороны расходятся лесные дороги.

У полуразвалившихся стен древней крепости, откуда открывался незабываемый вид на Чатыр-Даг, со связанными руками стояли три лакских жителя — пожилых, измученных пытками. Григорий Александрович сказал:

— Умрём по-христиански.

Они готовились к смерти, как готовятся крестьяне к неминуемому — молча.

Им развязали руки, поставили к стенке. Белёсый туман в далях рас- | сеялся.

Раздался залп, приглушённый утренней сыростью.

Дуся бежала к развалинам: успеть, успеть...

Не успела. Рядом с ней, затаившейся в кизильнике, прошла команда жандармов.

Дуся подкралась к развалинам, у чёрной стены увидела полица с карабином. Он прошёлся, зевнул, присел на камень. У его ног лежали трупы.

Дуся подкралась к нему, оглушила камнем, потом добила прикладом.

Она похоронила двоих, а тело Григория Александровича, взвалив на плечи, понесла.

На Лысой горе, откуда были видны далёкие степные просторы, Бахчисарайский отряд схоронил старого бухгалтера, самого тихого, самого мирного человека на много вёрст вокруг.

Отряд Македонского вернулся в Большой лес. Два месяца партизаны целого района жили и воевали с немцами на лакских продуктах.

Николай Спаи возглавил боевую группу лакских колхозников.

Дуся долго «уламывала» Македонского: «Пока не отомщу за Григория Александровича, жизни мне нет!» Командир уговаривал комиссара дать согласие на перевод партизанки в боевую дружину Николая Спаи.

Группа Николая Спаи била немцев вблизи родной деревни, дотла сожжённой. Дуся ходила в разведку, искала следы главных виновников гибели старого бухгалтера и тех, чьи останки лежали в братской могиле.

В звонкий морозный день Спаи расположил партизан у дороги, недалеко от мелового ущелья. Он ещё раз переспросил у Дуся:

— Ты не ошиблась?

— Убей меня бог — нет! Они, гады, в Фоти-Сала дорожного мастера прикончили.

Ждали долго. Мимо шли машины, повозки, было холодно — зуб на зуб не попадал. Вот Дуся приподнялась, внимательно присмотрелась к чёрной точке, которая, быстро увеличиваясь, приближалась к партизанам.

— Едут! — сказал Спаи.

— Ихний «кнехт», ей-богу!

— Спокойно! — Спаи с гранатами пополз к самой дороге.

Машина шла на большой скорости, но на повороте стала разваливаться — гранатный взрыв вырвал весь передок. Из упавшего кузова застрочил автомат.

— Сволочи! Ложись, братва! — Дуся с ходу метнула гранату, а потом ещё полоснула очередь из трофейного автомата.

Собрали документы, оружие. Точно установили, что в машине находились фельдфебель Ферстер, немецкий офицер Клорнер — агроном из Фрайдорфа.

«ТУАРИШ ТОМА»

Кончились лакские продукты, не стало и трофейной конины, добытой боевыми группами. Скывывались от жгучих морозов горы. Отряды голодали, связи с Севастополем не было. Голод и сырая стужа укладывали партизан в тайные санитарные землянки.

Конина могла спасти нас от голодной смерти, но вражеские обозы перестали двигаться по горным дорогам. Они шли к фронту обходными путями под охраной танков и самолётов.

Голодная блокада!

Умирали раненые. В курнях, наспех прикрытых палой листвой, люди думали, что ждёт их завтра.

Думал ия — командир объединённого Южного партизанского района, в котором было более восьмисот лесных солдат.

Я устал. Завернувшись в плащ-палатку, изнемогая от боли в суставах, хотел только одного — согреться. Но думы, думы... Крым набит немецкими полками, румынскими бригадами, штабами разных мастей. Шумно на городских рынках, сизый дым в многочисленных кофейнях. На южном берегу уже сильное солнце, под его лучами холят тела наши враги, топчут ялтинскую набережную. Торжествуют, сволочи, будто

забыли о подмосковной зиме, о том, что тысячи и тысячи трупов костенеют под Волоколамском и Можайском.

Севастополь ещё плотнее обложен отборными войсками, к его стенам подтянули из Германии гигантскую пушку под звучным названием «Большой Густав». Снаряд такой пушки раскалывает пятиэтажный капитальный дом, как щипцы скорлупу грецкого ореха.

Трудно. Но мы ещё живы, живы! Как бы фашисты на крымской земле ни считали, что крепко стоят на обеих ногах, всё равно им приходится оглядываться по сторонам не только ночами, но и среди белого дня.

Мы боремся. И, даже умирая, бьём их. В моём кармане рапорт командира Красноармейского отряда бывшего секретаря райкома партии Абляма Аэдинова: «Двадцать первого марта тысяча девятьсот сорок второго года группа под командованием лейтенанта Столярова на шоссе Коуш-Бахчисарай уничтожила семитонную фашистскую машину, убила одиннадцать солдат и одного офицера, взяла следующие трофеи: три автомата, пистолет и пять плащ-палаток. При возвращении в отряд от голода умер сержант Коваленко».

Думаю, думаю, медленно засыпаю. Долго ли, коротко ли спал — не знаю, но слышу, как меня расталкивают.

— Связные от Македонского, — докладывает мой вестовой Семёнов.

Я иду к Македонскому — спуск, подъём, снова спуск. Когда же конец этой проклятой тропе? Осенью я часто ходил по ней, она мне тогда казалась поровнее и покороче.

— Передохнём, товарищ командир. — Семёнов смотрит мне в глаза.

— Остановимся — не поднимусь. Шагай!

А кручи, кручи! Не дышу, а хватаю воздух застуженными лёгкими.

Семёнов сухопар, лёгок, не поймёшь: устаёт или вообще не знает, что это такое. Повсюду одинаков — и сытый и голодный, и на головокружительном спуске, и на подъёме чуть ли не под прямым углом. Старается мне помочь, но с тактом, не навязчиво.

Наконец-то! Тропа пошла ровнее. Темнее — вступаем в Большой лес. Ещё бросок, и мы у Македонского. Ощупываю подбородок — не брит. Да ладно уж...

Македонский встречает оживлённо:

— Здравия желаю, товарищ командир района!

— Чего такой весёлый?

— Весёлые вести имею.

— Выкладывай, повесели и меня.

— Вернётся из разведки мой Иван Иванович — доложу, чтобы было вернее.

Македонского и голод не берёт: плечи — косая сажень. Нет, берёт всё же: щёки провалились и под глазами нездоровые круги.

— Чего звал как на пожар? — сержусь я.

— Побриться бы тебе, а? — предлагает душевно.

- Где, чем? Может, брадобрейную устроил?
- А на что Тома Апостол? Кудесник. Да и бритва у н^го эккерская.
- Тот самый румын, что ли?
- Так точно.

Тома, шустренький грек-румын, будто тугими винтами стянул моё лицо. Пальцы его со смолистым душком ловко массировали кожу, плясали на измождённых щеках, как палочки по натянутой барабанной шкуре. Брил без мыла, но боли я не ощущал и медленно засыпал.

Отдохнувший, выбритый и вымытый, обходил партизанские группы.

Голодная блокада леса сказывалась и здесь. У бахчисарайцев уже второй день в общем котле липовые почки да молодая крапива... Скулы заострились, но отчаяния в глазах я ни у кого не заметил. Македонский со своим комиссаром Чёрным всячески побеждал голод.

Как?

Движение, ещё раз движение... Никому не давали и часа покоя. Того — в разведку, другого — на патрульную службу, третьего — за мороженой картошкой на Мулгу, четвёртого — ловить силками соек, пятого — глушить форель в горной речушке, шестого — искать на чаирах дикий чеснок.

Поел и я супа из липовых почек. Не знаю, чем его заправляли, но что-то мучнисто-клейкое чувствовалось.

Македонский водил меня по лагерю и расспрашивал подробно, как идёт жизнь в других отрядах, сколько можно поставить под ружьё людей и как там наш сосед — Георгий Северский со своими отрядами, смогут ли нам помочь в случае надобности?

— Уж не собрался ли ты штурмовать ханский дворец в Бахчисарае? Македонский прячет сверкающие глаза. Вдруг увидел Ивана Суполкина, размашисто зашагал к нему, таща меня за собой, крикнул:

- Ну, Иван?
- Всё в порядке, мукичка должна быть.
- Должна или есть?
- Есть, есть, вот только солдат поднаперли.
- В Шуры? — ахнул Михаил Андреевич.
- В Ауджикой.
- Тьфу, испугал, чертяка! Что ещё скажешь?
- Ничего больше того, что ты знаешь.
- Иди отдыхай.

Македонский о чём-то задумался.

— Может, пора кое-что и мне сказать, — поторопил его.

— Есть у меня одна задумка, заковыристая.

— Выкладывай.

— Дело с переодеванием в румын...

— Что? — Я не поверил ушам своим. Появление у немцев в их форме, всякие штучки с проникновением чуть ли не в спальню командующего... До этого ли нам.

Македонский понял мои мысли:

— Всё обдуманно, никакой авантюры.

— Что-обдуманно, что ходишь вокруг да около? Докладывай!

— У нас румыны — раз! Сам Тома Апостол — два. Одетых в румынскую форму партизан до взвода наберётся.

— Откуда румыны, что за особа Тома Апостол?

Тома Апостол пришёл в отряд сложным путём.

Зимой 1942 года румынские дивизии дрались против защитников Севастополя и нас, партизан, что называется, в полную силу. Не только офицеры, но и часть солдат ещё верили немцам, в газетах писали о некой Трансднестрии с центром в Одессе, которую якобы «союзники» — немцы — «навечно» оставили под властью «Великого вождя Антонеску».

И всё-таки отдельно взятый солдат-румын представлял для нас опасность куда меньшую, чем солдат-немец. Румыну доставалась неудобная и более опасная боевая позиция, он отдыхал в домишках, которыми пренебрегали немцы, из награбленного он получал крохи — одним словом, по всем статьям находился на положении пасынка. Солдат не знал, за что он воюет, во имя чего и кого он обязан класть свои косточки на чужой земле.

Румынские офицеры пьянствовали, занимались рукоприкладством и были старательны только в одном: в грабеже мирного населения.

Солдат вынужден был думать о себе, о своём ненасытном животе, часто даже об одном хлебе насущном, как-то приспособливаться, самодеельничать, полагаться лишь на самого себя.

Ефрейтор Тома Апостол именно и был из таких. Он всю жизнь брил чужие бороды, любил, как и большинство парикмахеров мира, всласть поболтать, был склонен даже к примитивному философствованию. Война была не по нем, и он сделал всё, чтобы ни разу не выстрелить из карабина, который таскал с полным пренебрежением.

В деревню Лаки попал он в качестве одного из квартирьеров. Начал жизнь со знакомства с сухим терпким каберне. Налакался с первого часа и продолжал пить до той поры, пока напудренный капитан на глазах всей деревни не отлупил унтера — прямого начальника Тома.

Тома старался не попадаться на глаза капитану. По какой-то счастливой случайности его поселили в доме председателя колхоза Владимира Лёли.

Хозяин был человеком наблюдательным и сразу же разобрался в тихом ефрейторе, понял: зла такой солдат никому не сделает, разве силой принудят.

Лёли пригрел румына, кормил, поил. А тут совершилось открытие: Тома знал греческий язык, родной язык Лёли. За ночь выпили ведро сухого вина, и Тома говорил столько, что можно было буквально утонуть в его краснобайстве. Но Лёли был доволен: ефрейтор, оказывается, бывал во многих крымских городах: Симферополе, в Феодосии, Ялте, Бахчисарае, у него отличная память. Всё это может пригодиться штабу партизанского района.

Он правильно думал: мы действительно готовили срочную связь с Севастополем, нам нужна была информация о противнике из первых рук. Нас особенно интересовал Первый румынский корпус, его дислокация, тылы, полевая служба. И вот пришёл пакет от Македонского, в котором был доклад о Тома Апостоле. Мы приказали румына немедленно доставить в штаб района.

Македонский решил взять Апостола подальше от Лак, чтобы не привлекать к деревне лишнего внимания. Операция была возложена на начальника разведки отряда Михаила Самойленко и партизана Николая Спаи.

Как-то Лёли уговорил румына сопровождать его до Керменчика. Тот с удовольствием согласился — он уважал своего гостеприимного хозяина.

Пошли они налегке. Тома забегал то справа, то слева и, как всегда, говорил, говорил...

Навстречу шёл высокий черноусый человек... Тома присмирел, но потом успокоился. Он видел этого человека в деревне, да и глаза у него такие добрые.

Черноусый поздоровался с Лёли, посмотрел на голубое небо, сказал:

— Хорошо!

— Дышится, — поддакнул Лёли.

— Крим — во! — воскликнул Тома.

Спаи вытащил кiset:

— Закурим, солдат?

— Хорошо! — Тома отдал карабин Лёли и с охотой крутил большую сигарку. Только было прикурил, как из-за куста вышел вооружённый человек — Михаил Самойленко.

Тома побелел, но выучка всё же сказала: бросился к карабину.

Лёли винтовку прижал к себе:

— Тебе она ни к чему, солдат.

Тома стоял как пригвождённый, глухо спросил:

— Ппарти...зааан?

— Спокойно. — Самойленко обшарил его карманы — на всякий случай взял из рук Лёли карабин: — Всё в норме, Володя! Иди к себе, а у нас путь не близкий.

Тома было бросился за лакским председателем.

— Стой! — > приказал Самойленко, оценивающе осмотрел щуплую фигуру румынского ефрейтора, пришибленного неожиданным поворотом своей солдатской судьбы.

Тома от испуга потерял дар речи.

Николай Спаи старался его успокоить: ничего с тобой не случится, останешься целёхоньким, но Тома перестал даже понимать по-гречески и только со страхом смотрел на Самойленко.

На первый взгляд Михаил Фёдорович холодный и строгий. Только те, кто съел с ним, как говорят, пуд соли, знали его доброе сердце.

Не ахти каким ходоком оказался румынский ефрейтор, уже через несколько километров он стал задыхаться, но боялся признаться и безропотно шагал за широкой спиной «домнуле» — он принимал Самойленко за важного партизанского офицера.

Вскарабкались на крутой Кермен. Самойленко снял с плеча карабин Апостола, сказал Спаи:

— Пора подзаправиться чем бог послал.

Дядя Коля ловко развёл очаг, в котелке разогрел баранину; буханку лакского хлеба разломил на три равных куска.

— Садись. — Самойленко подозвал к огню румына.

Тома нерешительно топтался на одном месте.

— Ну, кому сказано!

— Домнуле... офицер... Тома — сольдат...

— Я не офицер, а товарищ командир, если хочешь. Садись, раз приглашаю, сказано же... Что, десять раз повторять?

Тома уловил в голосе Самойленко доброжелательные нотки, осторожно присел бочком, улыбнулся:

— Туариш... Тома — туариш...

— Ишь, ещё один товарищ отыскался, — хмыкнул Самойленко, протянул румыну ложку, сказал: — Рубай — ешь, значит!

...Тропа сужалась, а ледяной ветер косо сёк усталых путников. Короткая жёлтая куртка и беретик не грели ефрейтора Тома Апостола, он весь посинел, мелко стучали у него зубы.

— «Язык» может дать дуба, — забеспокоился Спаи.

Самойленко неожиданно сбросил с плеч плащ-палатку, отдал Тома:

— Укутайся!

Ошеломлённый румын испуганно уставился на «домнуле», который стоял перед ним в одной лишь стёганой курточке.

Тропа оборвалась перед буйной Качи. Летом речушка тихая, мелкая, как говорят, воробью по колено. Зато сейчас шумит, бурлит, пенится, прёт такая силища, что и на ногах удержаться можно лишь опытному ходоку.

Никакой переправы, и Тома смотрел с ужасом на водяную кипень, особенно потрясло его то, что делал сейчас «домнуле» Самойленко, который, стоя под ледяным ветром, в один миг сбросил с себя одежду и остался нагим.

— Раздеться! — приказал он румыну.

Тома уже ничего не соображал, и руки его двигались автоматически. Разделся — маленький, тощенький, с одним лишь животным страхом в глазах.

В воду толкнул его Спаи. Обожгло, конвульсивно сжалось дрожащее тело. Спаи волочил его за собой и буквально вынес на тот берег, а потом снова пошёл в воду — за одеждой. Возвращается, высоко подняв узел, смеётся, а мускулистое тело жаром пылает. Ну и силён!

Самойленко ловко растирал себя от кончиков пальцев до мочек ушей и требовал этого же от Тома.

Сильное тело Михаила Фёдоровича покраснелось. Он быстро оделся и побежал к Тома, который уже на всё, в том числе и на собственную жизнь, давно махнул рукой. И если ещё шевелился, то только от страха: не вызвать бы гнев «домнуле».

Самойленко бросил румына на плащ-палатку, растянутую на снегу, стал приводить в чувство. Его цепкие руки растирали остывающее тело «языка», и Тома исподволь стал ощущать, как блаженное тепло обволакивает его со всех сторон.

Он увидел глаза «домнуле». Ничего страшного в них не было. И что-то новое, никогда не изведенное, рождалось в сердце маленького румынского парикмахера.

Собрав запас русских слов, которые каким-то чудом отпечатались в его памяти, он крикнул:

— Гитлер — сволош! Антонеску — гав, гав!.. Я — туариш Тома Апостол.

Дали ему пару глотков спирта, ещё раз покормили, напоили кипятком.

— А теперь марш! — приказал Самойленко.

— Марш-марш, туариш Тома! — Апостол пытался шагать в ногу с «домнуле», который совсем ему теперь был не страшен.

Тома был наблюдательным и многое смог рассказать в нашем штабе. То, что он рассказал нам, имело значение не только для партизанского движения, но и для Севастополя.

Как быть с ним? — ломали мы голову... Решили оставить его в Бахчисарайском отряде под негласным надзором партизана Николая Спаи, который считал своего подопечного преданным нашему делу человеком. Однажды произошёл случай, который высоко поднял румына в глазах всех бахчисарайцев.

Охотники убили оленя. За мясом послали пожилого партизана Шмелёва и, по настоянию комиссара Чёрного, в напарники ему определили Апостола.

Те прибыли к охотникам, нагрузились мясом — ы айда в отряд. Тома отстал от Шмелёва и заблудился.

Сбежал?

Комиссар отрицал:

— Куда он денется. Может, он впервые человеком себя почувствовал.

— Дьявол его знает, — сомневался Михаил Самойленко, который во всех случаях жизни ничего не принимал на веру.

Искали румына долго, изнервничался Николай Спаи... К вечеру следующего дня он оглашенно закричал:

— Ползёт наш Тома, собственной персоной!

Тома плакал, оленья ляжка, которую он нёс, окончательно dokonала его. На четвереньках карабкался по горам, кричал. Он не бросил груз, приполз. Несколько раз повторял:

— Туариш Тома удирать не делал...

В марте 1942 года, в дни самого отчаянного голода, там, под стенами Севастополя, в рядах врага наметились кое-какие перемены. И они касались пока лишь румынских частей, усталых от бесконечных атак, от застоя, от того, что не всегда желудки солдат были наполнены даже самой неприхотливой едой.

В горных сёлах, прилегающих к линии фронта, можно было обнаружить бродячие «команды» румынских солдат. Они под всяческими предлогами

требовали у старост продукты, вино, табак, настаивали на ночёвке. Поначалу их принимали за представителей румынских подразделений, но попозже немцы издали специальный приказ о таких «командах», и румын бродячих начали повсеместно и беспощадно преследовать.

Как-то Михаил Самойленко, возвращаясь с очередной разведки, заметил на партизанской тропе румын без оружия.

— Или рехнулись окончательно, или в царство небесное хотят до срока попасть, — шепнул Самойленко Ивану Суполкину.

Выбрали удобную позицию, Самойленко вышел на тропу, энергично скомандовал:

— Руки вверх!

Румыны не заставили себя упрашивать, а покорно подчинились.

Обыскали их, на всякий случай отрезали у всех задержанных пуговицы с брюк (выдумка Ивана Ивановича), аккуратно вручили их владельцам:

— Понадобится — пришьёте!

Тома Апостол, конечно, пришёл в восторг, когда увидел своих — оказались однополчанами, — прыгал по-мальчишески, побрил им бороды, беспрерывно лопоча что-то на родном языке.

Румыны, оказывается, искали дорогу к партизанам. Вот таким манером бахчисарайцы пополнились чуть ли не целым отделением румын...

— Наши гости хорошо знали состав гарнизона вокруг леса, знали кое-что другое, крайне важное для нас, — говорил Македонский. — Например, в Шурах — горной деревне в Качинской долине, есть мельница. Она мелет румынам, частям второй дивизии. Там есть пшеница, а то и мука залёживается день-другой. Правда, в тех же Шурах румын — не протолкнёшься. Да и оборона не дай бог: пулемёты глядят не только на дороги, но и на тропу. Штурмом не взять!

— Так что же ты надумал — выкладывай без запиночки! — потребовал я от Македонского.

— Околотить «румынскую» роту, без боя войти в Шуры, добраться до самой мельницы, а там будет видно.

— Переколотят всех.

— Что ж, отдать себя голоду? — обозлился Михаил Андреевич.

Я думал, прикидывал, спрашивал у себя: разве помнишь случай, чтобы Македонский из пустого в порожнее переливал, занимался пустозвонством? Он из тех, кто семь раз отмерит...

Решили ещё раз разведать: что на самой мельнице, есть ли мука или пшеница?

Двое суток ждали Дусю, которая пошла прямо к мельничихе — в Шуры. Она знала её, вместе когда-то в сельской школе учились.

Вернулась Дуся, доложила, что мука есть, румыны живут, как случайно собранное стадо, приходят и уходят в Шуры команды, солдаты-одиночки, и никто даже их документы не проверяет. Ночью всё охраняется, но так — через пятое на десятое.

— Действуй, Македонский, — согласился я.

Выработали план операции. Я быстро обошёл отряды, собрал тех, кто ещё способен пройти два десятка километров, кто не струсит ни в каком бою. Встретился с Северским, договорился с ним, что он подбросит на помощь нам партизан Евпаторийского отряда.

Готовились торопливо, но тщательно; непрерывно следили за Шурами. Конечно, беспокоило нас «румынское подразделение». Отбирали в него самых сильных, но партизаны мало напоминали действовавших в тылу румын.

Командовать «румынами» будет Тома Апостол — это для виду, а главная ответственность ложилась на плечи Ивана Ивановича; с него спрос за настоящих румын и партизан, переодетых в румынскую форму, которую собирали в двух районах — в нашем и у Северского. Помощником у Ивана Ивановича — Николай Спаи, переводчик и правая рука Тома Апостол.-

А Македонский и Чёрный поведут основную партизанскую массу в обход — к сосновому бору, что темнеет напротив мельницы и отделён от неё бурной речкой Кача.

Итак, в путь, ни пуха ни пера.

Иван Иванович, прекрасно зная лес, наикратчайшим путём вывел «румынскую» роту к шоссе Бешуй — Бахчисарай, огляделся, через Спаи приказал Апостолу:

— Бери командование на себя, выходи на дорогу!

Вышли и марш — ать... два! Впереди «фельдфебель», маленького роста с весёлыми глазами. Им был Тома Апостол, который легко вошёл в роль и браво командовал по-румынски.

Партизаны шагали по сухому асфальту, их порой обгоняли машины с грузами, а то и с солдатами.

Из одной встречной, затормозившей перед «ротой», высунулся румынский офицер. Тома чётко шагнул к машине, по-уставному приветствовал офицера.

— Куда путь держите? — спросил офицер.

— В Шуры, господин капитан.

— Какой дурак туда вас направил?

— Начштаба полка подполковник господин Видражку, господин капитан.

— Вот болван! — Капитан посмотрел на часы. — Хорошо, ночуйте в Шурах, утром получите дальнейшее указание.

— С кем имею честь, господин капитан?

— С адъютантом командира дивизии.

— Так точно, господин капитан!

Машина укатила. Апостол — потный, ошеломлённый — досадливо повторил диалог с офицером Николаю Спаи, а тот перевёл его Ивану Ивановичу, у которого даже спина вспотела от волнения. Он не был из трусливого десятка, но боялся срыва операции пуще смерти.

Солнце спряталось за развалины древнего городка Чуфут-Кале. С гор струился сырой весенний воздух, напитанный ароматом тающего снега и хвои.

Наступал партизанский «день». В сумерках команда Апостола пошлагала смелее. Разноголосый собачий лай встретил партизан на шурынской окраине.

Вошли в деревню. Патрули молча пропускали строй запоздавших румын. Тома устало и сердито отдавал команды, всем голосом своим показывая, как ему всё осточертело, как он нуждается в отдыхе и покое.

Шум падающей воды, мельканье огонька — мельница. Свернули к бушующей реке. Вдруг из темноты вынырнул ещё один патруль в составе целого отделения солдат. Высокий румын в папаше что-то выспрашивал у Тома, тот отмахивался от него и упорно продолжал подгонять растянувшуюся колонну.

Неожиданно высокий румын вскинул автомат, что-то скомандовал солдатам, стоявшим чуть поодаль от него. Тома срывающимся голосом закричал:

— Лупи!!!

Румынский патруль скосили автоматными очередями в один миг.

— Давай сигнал! И на мельницу бегом! — Команду взял на себя Иван Суполкин.

Пошла суматоха, беспорядочная стрельба, слышались отдалённые тревожные команды. Сигнальные ракеты взвились над всей долиной.

Македонский бросился форсировать буйную речку.

— Чёрный, гони всех за мной! — кричал он с речки комиссару.

Ноги скользили, партизаны с ходу падали в воду, захлёбывались, но неудержимое движение к цели продолжалось. Девяносто человек оказалось на нужном берегу.

Стрельба на самой мельнице вмиг оборвалась, там уже хозяйничал Иван Суполкин. На покрытом мучной пылью полу лежали убитые.

Мельник, муж Дусиной знакомой, семенил рядом с Иваном Ивановичем, доказывал:

— Ты, балда, понимаешь, что я русский человек, значит, Пётр Иванович. А ты, тьфу, как напужал... Ведь чуть не ухлопали. Это как же понимать, в конце концов?

— Свой, а якшаешься с кем? Работаешь на кого, подлюга? —
огрызнулся Иван Суполкин.

— «Работаешь, работаешь»... Жрать захочешь, так будешь работать,
мил человек... — обиженно пробормотал мельник и отошёл. Вдруг
увидел Василия Ильича Чёрного: — Товарищ секретарь райкома! А мне
что, пропадать? Ведь фрицы кишки вымотают, как перед богом клянусь!

— Что ж с тобой делать, а?

— Бери к себе — в лес. Куды же мне деваться?

— Хорошо, а пока разрушай свой механизм.

— Это мы мигом, — заторопился Пётр Иванович.

Македонский вбежал в мельницу с большой группой партизан:

— Как, Ванюша?

— Есть мука, Михаил Андреевич... Вот двоих хлопцев ухлопали.

— Заберём — похороним. — Повернулся к партизанам, стоявшим в
ожидании его команды: — Нагружаться и галопом по Европам — одна
нога здесь, другая за речкой. А ты, Иван, гляди в оба, обеспечь
операцию.

— Есть, командир!

С исключительной быстротой мешки с мукой передавались по живой
цепи на ту сторону реки. В воде, поддерживая друг друга, плечом к плечу
стояли самые сильные бойцы. Мука шла по живому конвейеру...

Из-за поворота выскочила машина, за ней другая... Осветили фарами
мельницу, солдаты рассыпались в цепь, открыли стрельбу.

— Ванюша! — Македонский обнял Суполкина. — Задержать. Финал
операции в твоих руках... Бери лучших и давай. Продержись минимум
пять минут, а потом, маневрируя, уводи за собой карателей.

— Уведу!

Туго приходилось Ивану Суполкину и его команде. Отбиваясь, они
отходили от реки в сторону Бахчисарая, вступая в близкий бой с
преследователями. Теряли людей. Были убиты румыны из
«беспуговичной» команды, пало два бахчисарайца. Удалось команде
оторваться от врага лишь на рассвете. В отряд возвращались далёким
кружным путём, неся четверых раненых партизан.

Македонский, нервно вслушиваясь в гул боя, уводил в горы партизан,
нагруженных до отказа.

Мучной след вёл в Большой лес. Утром по нему ориентировались
каратели. Напрасные попытки — следы разветвлялись по тропинкам,
удваивались, утраивались... удесятерялись... Трофейная мука
расходилась по всем партизанским отрядам... Долго вспоминали в
крымском лесу «мучную операцию». Тома Апостол ходил гоголем — он
стал личностью легендарной, от избытка нерастраченных чувств
влюбился в Ду-сю, которая была на целую голову выше его, а в плечах
вдвое шире. Но он был нежен, дарил ей первые весенние цветы —
фиалки.

ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ

Наступил апрель. Через горы шла весна. Она долго бушевала в садах Южного берега, захлестнула зеленью предгорные леса и, перешагнув через продутую ветрами холодную яйлу, споро зашагала в таврические степи.

Прошли первые весенние дожди — короткие и стремительные. Снова зашумели переполненные реки, на северных склонах самых высоких гор сходил снег. Лёгкие туманы поднимались из ущелий и где-то высоко над зубцами гор таяли в небе.

Партизанские стоянки, разбросанные вдоль пенистой Донги, опустели. После «мучной операции» трудно было удерживать людей в землянках и шалашах — уходили на дороги бить врага.

Наш аккуратный штабист — подполковник Алексей Петрович Щетинин — вдруг стал уточнять списки личного состава, выяснять, где у кого семья и в каком количестве.

— Зачем? — спрашивали партизаны.

— Вот-вот будет связь с Севастополем, — уверенно заявлял он. — Будем писать письма в местные военкоматы, обяжем их позаботиться о наших семьях.

Связь, связь! Это слово было у всех на устах. Посматривали на небо, но оно ночами было закрыто плотными облаками — ни один самолёт не мог нас разыскать.

Но однажды утром над нашим лесом появился самолёт-истребитель. Сначала почти никто не обратил на него внимания — мало ли летало в то время разных самолётов, только они были не наши; но — странно! — лётчик упорно кружится над одним районом, то взвывая ввысь, то прижимая машину к верхушкам высоких сосен. Следя за самолётом, мы разглядели на его крыльях звёзды.

— Наш! Наш!!!

Мгновенно зажгли сигнальные костры: «Мы здесь! Мы ждём!»

Самолёт понял — покачал крыльями.

Над поляной Верхний Аппалах кружила машина, а в это время туда из отрядов бежали люди. Самолёт «проутюжил» поляну и взмыл вверх, потом, сделав прощальный круг и ещё раз покачав крыльями, лёг курсом на Севастополь.

Мы с волнением обсуждали появление истребителя, строили различные догадки, но всем было ясно: нас ищут!

Лес зажил в ожидании необычных событий.

На четвёртые сутки в одиннадцать часов дня мы услышали шум мотора, повыскакивали из землянок. Дежурный по штабу заорал как резаный:

— «Кукурузник», мать его сто чертей!

Почти касаясь верхушек сосен, промчался знаменитый биплан, блестя красными звёздами на крыльях и фюзеляже.

Сердце так и ёкнуло: вот так отчаянная башка. Днём, на фанерном «У-2». Да любой немецкий истребитель первой же очередью прошьёт и машину и лётчика насквозь.

А небо без облачка. Нервно оглядываемся: только бы пронесло!

Самолёт ещё круг, ещё и всё ниже, ниже... Неужели приземляться задумал? Куда?

Из последних сил, через чащобы, овраги пробиваемся на Верхний Аппалах. Там площадочка, но очень сомнительно, чтобы на неё можно посадить самолёт.

Я выскочил на эту поляну, огляделся: она с подъёмом шла в густой лес и на ней даже «У-2» принять нельзя.

А самолёт шёл на посадку.

Неприменно разобьётся!

Ниже, ещё ниже... Колёса коснулись земли, подпрыгнули; как стрекоза, поскакала машина по выбоинам. Раздался треск... и наступила тишина.

Над полуразбитым самолётом появился юноша в форме морского лётчика, улыбаясь ярко-синими глазами. Мы все к нему, подхватили на руки, опустили на землю.

— Товарищи, товарищи!.. — краснея, отбивался он.

Но каждому хотелось прикоснуться к человеку оттуда — с Большой земли.

— Ну, товарищи, разрешите доложить.

К нему подошёл Северский. Вытянулся гость перед ним, по-мальчишески отрапортовал:

— Младший лейтенант из Севастополя Герасимов, Филипп Филиппович.

Северский по-отечески улыбнулся:

— Здравствуй, Филипп Филиппович. Цел, невредим?

Засмеялись.

— Качать Филиппа Филипповича!

Переживая минуты радости, мы как-то не заметили, что из второй кабины вылез ещё один гость с треугольниками на петлицах. Его взволнованно-виноватое лицо говорило о каком-то несчастье. Он пробился к Герасимову, чуть не плача доложил:

— Рация... Рация вдребезги, товарищ младший лейтенант.

— Чтооо? — Синие глаза Филиппа Филипповича округлились.

Оказалось, что во время отчаянно смелой посадки радист, желая сохранить рацию, взял её на руки. Она разбилась о борт самолёта.

Беда!

Кто узнал о ней, пригорюнился, а главная партизанская масса ещё ликовала. Она была разношёрстной и разномастной... Люди, перенёвшие тяжёлую зиму 1941/42 года. Одежда гражданская, армейская, румынская, немецкая... Пилотки, ушанки, папахи, шлемы... Сапоги, ботинки всевозможных фасонов, постолы...

На лица без боли невозможно смотреть. Они, будто зеркало, отражали всё, что выпало на долю каждого из нас. Нелегко отличить молодых от старых, женщин от мужчин. Все выглядели стариками — голод не тётка. Ничьи щёки не лоснились от сытости, никто не мог похвастаться хоть капелькой весеннего румянца.

Конечно, каждый по-своему переносил тяжести, страдал, мучился от холода, недоедания и бесконечных маршей во время карательных операций врага, думал о судьбе Севастополя, о своей судьбе, о далёких родных, по ком так тосковали наши сердца. Но я не ошибусь, если скажу, что вера — большая вера в победу — всегда была с нами.

Постепенно молва о беде дошла до всех, всем стало ясно, что героический рейс Филиппа Филипповича ничего не меняет в нашей жизни — как и прежде с Севастополем связи нет. Но не могли мы с этим согласиться, ибо не могли без связи существовать.

Филипп Филиппович, не пряча своего страшного огорчения, всё же с какой-то невыносимой надеждой осматривал разбитую машину. Подошёл и я, когда-то служивший в войсках ВВС и кое-что понимающий в лётном деле.

С мотором всё в порядке, бензин есть, но была одна непоправимая беда: при посадке вдребезги разлетелся пропеллер. А без него не взлетишь.

К самолёту подходит начштаба, в его глазах что-то обнадеживающее.

— Что, Алексей Петрович? — тороплю я.

— Мне докладывали, что недалеко от переднего края фронта на немецкой стороне упал самолёт такого же типа, как этот. Он рухнул, как говорили мне, на густой кизильник. Винт должен быть целым.

— Где это? — с мальчишеской сноровкой бросился к нему молодой лётчик.

— Выясним.

Щетинин ушёл и через минуту подвёл к нам партизана Пономаренко.

— Повтори, что ты мне сказал только что.

— Есть! Самолёт лежит за Чайным домиком, пропеллер как штык торчит.

— Дорогу найдёшь, сержант?

Я прикидываю: далековато в те края, ох как далековато! Конечно, харчишки соберём, да вот дойдут ли ребята. Больно подбиты все. Чтобы пройти за минимальный срок туда и обратно сто двадцать километров, да по яйле, на которой снег рыхлый; а тут груз — не подушку нести, нужны силёнки надёжные.

Комиссар Захар Дмелинов подумал, сказал:

— А ежели наших женщин, а?

— Женщин? — Я с удивлением посмотрел ему в глаза.

— Подумай.

Да, надо честно признаться: во всех наших испытаниях женская часть отрядов оказывалась повыносливее нашего брата. В этом не единожды я убеждался. На иную глядеть страшно: одни глаза да худющие ноги, а идёт, да ещё на плечах бог знает какую ношу тащит: санитарная сумка, оружие, гранаты. На привалах мы в лёжку, а они тому сделают перевязку, другого кизилковым настоем напоят, а третьему доброе утешительное слово скажут.

Итак, женщины! Узнала об этом Дуся, прибежала первой:

— Да я одна винт допру.

Македонский остановил её.

— Не лезь, у тебя своё, поняла? — сказал строго.

— Поняла, командир, — чуть не плача сказала Дуся и ушла.

Наш выбор пал на седовласую учительницу из Симферополя Анну Михайловну Василькову; на молчаливую, но крепкую и выносливую медицинскую сестру Евдокию Ширшову; да на тихую дивчину, что с утра до вечера собирала в лесу липовые почки для партизанского кондёра, а ночами безропотно выстаивала на постах, Анну Наумову. Проводником, само собой разумеется, сержанта Пономаренко.

А вот кто будет старшим, кто тот человек, авторитет которого безупречен?

Ко мне подошёл бывший политрук алушкинской боевой группы, начисто разбитой ещё в декабрьских боях, Александр Поздняков.

— Посылай меня, командир.

— Может, тебя не хватит, может, это не твоё дело, Александр Васильевич?

— Моё, и главное.

— Тогда идите и принесите винт.

— Принесём.

Дни ожидания... Филипп Филиппович и помощники — их нашлось немало — чинили самолёт, готовили взлётную площадку. Партизаны, уверенные, что машина обязательно поднимется, писали родным письма.

Они вернулись на пятые сутки, принесли пропеллер. Но без Александра Васильевича...

Дядя Саша, Александр Васильевич! Встретил я вас ещё до войны, когда работал в Гурзуфе старшим механиком совхоза. Наши механические мастерские стояли рядом со знаменитой дачей князей Раевских. Хорошо сохранён был скромный особняк, в котором Раевские принимали Александра Сергеевича Пушкина.

Мне почему-то не верилось, что кипарис — стройный, высокий красавец, поднявшийся к небу, — и есть тот пушкинский, воспетый самим поэтом. Кто и как это докажет? Я в те времена был слишком молод и очень любил всякие доказательства.

Человек в роговых очках, с округлыми чертами интеллигентного лица, был директором пушкинского музея, часто проходил мимо мастерских и всегда вежливо с нами раскланивался.

Как-то я заговорил с ним. Он легко меня убедил, что кипарис Тот самый, заметив, между прочим, что это хорошо, когда человек любит ясность, но ещё лучше, если он ищет её. «Вот ты сосед, — сказал он мне, — а ни разу в музее не побывал».

Я стал встречаться с Александром Васильевичем. Он был старше меня лет на пятнадцать и во сто раз опытнее. За его плечами большая партийная работа в Сибири, а до этого — гражданская война, борьба с

басмачеством. Одним словом, живой герой близкой истории, духом которой было освещено моё поколение.

По молодости своей я не мог смириться с тем, что героическую биографию красного комиссара гурзуфцы не знают, и стал при удобных случаях рассказывать о ней ребятам нашего механического цеха. Поздняков как-то узнал об этом, при встрече со мной сердито заметил: «Прошлое — хорошо, но не самое существенное. Важно, что делаешь сейчас, сию минуту!»

Поход за винтом — финал героической жизни красного комиссара.

На пути его и команды была яйла. Снег сошёл с её лысых вершин, но в буераках был предательски опасен.

Мокрые насквозь, усталые до изнеможения, партизаны спустились к Чайному домику, за двое суток излазили чуть ли не весь второй эшелон фронта, наконец, нашли самолёт: обдирая на руках кожу, слабым шведским ключом сняли с оси винт.

Они спешили, не отдыхали. Поздняков шатался от слабости, у него запеклись губы, вместо глаз — провалы. Он шёл, наравне со всеми нёс тяжёлую ношу... Шёл до тех пор, пока не упал. Его подняли на руки, а он сопротивлялся и гаснущим голосом приказал: «Несите винт, ни секунды отдыха, умрите — донесите. А я отдохну и доползу, обязательно доползу».

Он не дополз, умер под горой Дмир-Капу. Посланные за ним партизаны принесли оледеневшее тело.

Филипп Филиппович стоял над комиссаровской могилой, запёкшимися губами шептал: «Я долечу, кровь из носа, но в Севастополе буду!»

Были в крымских лесах герои, слава о которых шла из отряда в отряд. Александра Васильевича мало кто знал. Он был тих, незаметен, физически крайне слаб, больше других лежал в санитарных землянках.

Прощай, мой земляк-гурзуфец... Останусь жив, непременно буду приходить к пушкинскому кипарису, вспоминать тебя — Человека с большой буквы, с которым судьба счастливо свела меня, молодого коммуниста, в тяжёлую годину.

Филипп Филиппович не отходил от самолёта, то и дело прошагивал взлётную площадку — вдоль и поперёк, слюнявя большой палец, выставлял его вперёд, желая определить поточнее, откуда дует ветер.

И вот всё готово к взлёту. Уложены письма, разведданные и страстные просьбы: не забывать нас.

Филипп Филиппович с взволнованно-бледноватым лицом оглядывается последний раз. Он видит сотни пар доверчивых глаз: уж постарайся, дорогой Филипп Филиппович. Лётчик откашливается, хрипло командует:

— От винта!

Мотор вздрагивает. Вот мелькнула лопасть, замерла, обратный полуоборот — круг первый, второй... И над лесом поплыл ровный и обещающий рокот.

Лётчик молодцевато рубанул воздух рукой и повёл машину на дорожку. Заревел мотор, и самолёт прытко тронулся с места, побежал всё быстрее и быстрее, поднимая свой хвост.

Я слышал обороты винта, и вдруг сердце моё тревожно сжалось — тяговая сила мотора слабее воздушного потока. Вижу, нутром ощущаю, как на предельных оборотах тужится мотор, но он бессилён против течения воздуха со стороны поляны в ущелье... Машину буквально на глазах засасывает в горный провал, вот колёса уже чиркнули по макушкам старых дубов... Машина рухнула в мглистый провал, раздался треск.

Сердце будто остановилось, а потом застучало до боли в висках. Я рванулся и побежал, не чуя под собой ног. Бежали все — беззвучно, с остановившимися глазами.

Все, конец, от самолёта остались одни ошмётки: в гармошку хвост, плоскости будто нарочно сложили вместе, впритык. Филипп Филиппович — живой! — растерзанный, в крови, возился у бензобака, стараясь предотвратить пожар.

...Весна спешит к теплу на высоких ходулях. Лес пахнет свежей жимолостью; дрожат, бьются почки, набухая от соков земли, лопаюсь на глазах. Капель, капель, как перебор струн контрабаса. В ушах финал Девятой бетховенской симфонии, услышанной мною впервые и случайно на симфоническом концерте в Летнем саду Ялты. Оркестром дирижировал молодой, но уже знаменитый музыкант Натан Рахлин. Это было за пять часов до начала войны.

У Филиппа Филипповича чёрные круги под синими глазами. Он постарел, ремень на поясе подтянут на последнюю дырочку. Парень сгорает на глазах, уговаривает, чтобы его немедленно отпустили, доказывая, что он перейдёт линию фронта и снова прилетит на фанерном самолёте среди белого дня.

Думает Северский, думаю я. Как решиться, когда позади такой живой и горестный опыт: попытка за попыткой перейти линию фронта кончались неудачей. наших связных будто Нептун проглатывал — заживо.

— А я пройду! — со страстью говорит лётчик. — Сто и более раз пролетал линию фронта — туда и обратно; сверху хорошо видно, каждая извилина земли на глазах. Пустите — пройду!

Он таки убедил всех нас, что дойдёт, сквозь игольное ушко пройдёт, но дойдёт.

Ему поверили и проводили в путь-дорогу, трудную, чрезвычайно опасную.

В лесу зашумели ручьи и горные реки. С каждым часом тёмные полосы — проталины оттаявшей земли — пробирались всё выше и выше. Яйла вся потемнела, а потом пошла за ней зелена.

Высоко в небе пролетали к Севастополю самолёты, иногда ранним утром стремглав пронеслась краснозвёздная птица, приветствуя нас покачиванием крыльев.

Однажды зарокотал над нами мотор. Желанная вестница из Севастополя была в небе.

— Филипп Филиппович! — орали, бросали шапки, плакали.

Самолёт над Тарьеровской поляной, заранее приготовленной нами.

Машина села, уверенно остановилась у опушки леса.

Юноша в лёгком синем комбинезоне показался из кабины.

— Филипп Филиппович!

Молодой сержант-радист доложил Северскому:

— В наличии две рации, четыре комплекта батарей. Разрешите выходить на связь?

И радиосвязь легла в эфире между нами и Севастополем. И первая партизанская радиограмма гласила, настаивала, умоляла: Филиппу Филипповичу звание Героя Советского Союза!

И оно было присвоено.

Кончилась война, а от синеокого парня ни весточки. Мы искали его повсюду, но ответ был один: убит, убит и убит.

И в послевоенных крымских музеях появилась фотокарточка Филиппа Герасимова, снятая ещё в те грустно-тяжёлые дни. И говорили посетителям те, кому положено говорить: днём он, Герасимов, летал над немцами на машине, которую можно было сбить пулей малокалиберной винтовки.

Правду говорили.

Убит, убит, убит...

Годы срезаются, как дорожные косяки, — наотмашь. Рубцы на деревьях остались на прежнем месте, только расплылись, свинец остался на прежнем месте, и деревья стареют на корню, начинённые металлом. Идут и идут годы — где был старый лес, звенит молодая поросль, а где дрожали хилые рощицы, скрипят папаши-дубы.

Яйла и та меняет свои залысины, стараясь выглядеть перед курортниками и экскурсантами, бывающими на ней, пококотливее, кое-где обрастая пухленькими сосёнками.

И ветер посвистывает песенно, будто слух обрёл. Скала Шишко над самой Ялтой, с неё морской простор, как выстрел в горах: ахнешь!

На скале камень-глыба, а на камне том имена высечены — партизанские.

Юркий экскурсовод в узких джинсах ведёт группу отдыхающих и на ходу, как автоматную очередь, выпаливает фразу:

— В критический апрель одна тысяча девятьсот сорок второго года к умирающим от голода партизанам прилетел молодой лётчик Герой Советского Союза Филипп Филиппович Герасимов. Но потом смерть оборвала путь патриота, но память о нём не померкнет никогда...

И вдруг чей-то решительный и взволнованный голос из группы:

— Как это оборвала?

Десятки голов поворачиваются на голос, осуждающие взгляды: что ты, друг, мол, не понимаешь, что лётчик погиб?

— Нет уж, позвольте, в мёртвых ходить — не согласен! — Синеокий человек с седеющей шевелюрой шагнул вперёд, стал лицом ко всем: — Герасимов Филипп Филиппович. Да, это я прилетал к партизанам на «кукурузнике», это мне присваивали звание Героя!

...На моём письменном столе ожил телефон. Чей-то слишком громкий и слишком взволнованный голос:

— Здравствуйте, товарищ командир! Я — Герасимов, лётчик, помните Филиппа Филипповича?

У меня ноги делаются ватными.

И сейчас, когда я дописываю эти строки, по славному Ленинграду шагает синеокий рабочий человек, и мало кто знает, что на его груди в праздничные дни сияет Золотая Звезда Героя Советского Союза.

ДИВЕРСАНТ-ОДИНОЧКА

Итак, связь с Севастополем работала с чёткостью хорошо, налаженного часового механизма.

Ночь по-южному тёмным-темна, крупные звёзды рассыпаны чуть ли не на вершинах гор — до того небо близко. Пока ещё невидимый гудит самолёт. На маленькой поляне выложено три костра в ряд, у каждого из них по партизану, в руках спички.

Гул ближе. Вот ярко моргнул бортовой сигнал, раздалась команда дежурного отряда:

— Костры!

Три вспышки пламени. С самолёта ответный сигнал: «Понято!»

Открываются шёлковые купола. Они раскачиваются под ночным ветром.

— Собирать парашюты!

На поляне вырастает гора торпед-мешков с продуктами, взрывчаткой, одеждой.

Самолёт совершает прощальный круг и берёт курс на Севастополь. Через час радист подаёт мне срочную радиограмму: «Усильте

разведку на шоссе Симферополь — Бахчисарай. Основная перевозка немцев на линии железной дороги Симферополь — Дуванкой. Примите

все меры и нанесите первый диверсионный удар на участке Альма — Бахчисарай. Боевым приветом Октябрьский Петров».

Адмирал Октябрьский и генерал Петров! Теперь вот кто даёт нам приказы!

И мосты рвём, и машины семитонные валим в кюветы, и солдат с офицерами убиваем...

Но кричат паровозы, стучат на стыках колёса... Стальной путь живой, немцы там полные хозяева. Правда, дня побаиваются. Пристально следят за воздухом, понаставив даже на полустанках зенитные батареи.

Стучат колёса, подпрыгивают платформы с танками, пушками... Храпит пушечное мясо в серых вагонах.

Дорога тянется по равнине: ни кустика вокруг.

За Басман-горой — бахчисарайцы. Македонский. Все дорожки сходятся к нему, к его мастерам партизанской тактики.

Я снова жму крепкую руку ладного командира. Он с лукавинкой спрашивает:

— А не перекочевать ли тебе к нам со своим штабом, а?

— Возьмёшь?

— Испытание боевое выдержишь — возьму.

Смеёмся.

В лагере чистота и лёгкость какая-то. Дай команду: сняться с места, — ей-богу, через пять минут и следа не оставят. И так уйдут, что и не разберёшь, в какую сторону ушли.

Перекусили чем... не бог, а Севастополь послал. Македонский вынул карту-километровку и решительно показал на чёрную и жирную линию, идущую из Симферополя в сторону фронта.

— За этим пришёл?

— За этим.

— Так запросто не укусишь — зубы поломаешь.

— Небось прикинул, Михаил Андреевич.

— Дело трудное, — повернулся ко мне Македонский. Лицо его, освещённое красноватым отблеском костра, показалось мне усталым. Да, такие гиганты и то снашиваются.

— Выкладывай, Македонский.

— Божий свет не без добрых помощников.

— Кто он?

Пришёл комиссар Василий Чёрный, вытянулся на лежанке, пахнувшей свежим сеном.

— Фу, ножки мои гудят по-стариковски.

— Поговорили? — спросил Македонский.

Чёрный поднялся, посмотрел на меня.

— Речь о мельнике, ну который прилепился к нам в шурынской мельнице. Помните?

— Ещё бы!

— Через него путь к железной дороге. Вот так. — Комиссар знал мельника давно как хорошего специалиста, но человека нелюдимого.

Пока мельника держали особняком, в отрядные секреты не посвящали. Он хорошо знал своё место и любопытства ни к чему не проявлял.

— Ему можно доверять?

— Нужно.

— Старший брательник мельника — будочником на той дороге. И живёт прямо у переезда. Вот так-то. — Чёрный замолчал, зажал губами соломинку.

Мы с Македонским глядим на комиссара: что он скажет окончательно? А Василий Ильич, не скорый на решение, всегда осторожный, молчит, будто испытывает наше терпение.

— Да ты как думаешь? — уже горячился Македонский: ему не терпится получить немедленное «добро» и сейчас же закрутить дело, чтобы пыль столбом пошла.

Чёрный, по привычке поджав губы, всё ещё прикидывает «за» и «против».

— Он же мог убежать! Ан нет, помогал нам мукичку перебрасывать на тот берег, — подсказывает Македонский.

— А что ему оставалось делать?

Македонский с отчаянием обращается ко мне:

— Ты начальство главное — приказывай.

Хитёр, бес, ведь он в душе уже решил положиться на мельника, а

сейчас ищет только официального согласия комиссара. Тут он до конца пунктуален, ему необходимо комиссарское согласие во что бы то ни стало — так уж заведено. А Чёрный ждёт, что я скажу.

— За мельника! — отвечаю ему.

— Видал? — хлопнул ладонями Македонский.

— Попробуем, — соглашается комиссар, кричит: — Иван Иванович, бегом за мельником и ко мне!

Появляется Иван Суполкин, а с ним и мельник в рабочей одежде, низенького неприметного роста, на вид лет тридцати пяти и, видать, болезненный — лицо с желтизной.

— Давно бывал у брата? — допытывается Македонский.

— За два дня до нападения на мельницу.

— Где он работает?

— Известно где, будочником, на железке.

— Как он с оккупантами?

— Водится, — коротко бросил мельник.

— А ты? — вмешивается комиссар.

— А на кой ляд я пришёл сюда, в лес?

— Привёл случай.

Мельник поднимает голову, строгим голосом:

— А я давно ждал его — вот что я вам скажу! Дуся моей жене всё выложила, а та — мне. И держал я муку на мельнице, а румынам всё

брехал: машина поломалась, не смолол ещё... Вот и весь мой «случай», товарищ Чёрный.

Македонский нервно потёр подбородок — первый признак признания собственной вины:

— Ты уж нас строго не суди, время такое... Надо к брату идти, подразведать, что и как.

— Приятности мало, коли надо... Не знаю лишь — выйдет ли?

...На третьи сутки мельник вернулся в отряд. Он побывал у брата,

не выдавая себя, разузнал: немцы дорогу охраняют, но не так, чтобы шибко. Главная беда — трудно подобраться к цели. Надо шоссе переходить, по степи шагать. Охранников туча тучей. Мельник сам чуть не попался в лапы фельджандармов, выручило только случайно сохранившееся у него удостоверение, выданное румынским штабом.

Как же нам быть?

Через час явился в командирскую землянку Иван Суполкин — выбритый, с белым подворотничком на гимнастёрке, собранный такой.

— На парад, Ваня? — подначил Македонский.

— На железную дорогу.

— Так-таки прямиком?

— А что, командиры? Знаем дорогу, охрану, знаем, что фрицы через пятое на десятое патрулируют линию, наконец, там брат нашего человека — мельника. Эшелон на воздух — жив не буду.

Убедительно говорил Иван Иванович.

Македонский, сжав кулак, тряхнул им:

— Под лежач камень вода не бежит! Сколачивай диверсионную группу, Ваня! Ты — старшим, мельник да ещё двоих — все!

Они вышли из леса, день отлежались под кустами, а когда полностью стемнело, зашагали на север. Темнота была жуткая, будто в бочку с дёгтем попали. Шли без остановки, долго шли. По времени уже должны были быть близко к железной дороге. Но никаких признаков. Пришлось снова прятаться в кустах, спать на прогретой, пахнувшей чабрецом земле. Рассвело, и будка стала видна и дорога — бродили-то рядом, оказывается.

Рискованно было, конечно, мельника посылать к брату, но другого выхода не было. Кроме всего, уж очень животы лодвело, особенно у Ивана Ивановича, любителя «подзаправиться».

Мельник вернулся с благополучием, даже буханку хлеба принёс, зелёного луку в палисаднике надёргал. В общем, стало веселее...

Уж если что втемяшилось в голову Ивана Ивановича — колом не вышибешь. А втемяшилось: взять сейчас же да с Петром ввалиться в гости к будочнику, а там чёрт не выдаст — свинья не съест!

И пошли, низко пригибаясь к земле, сразу в будку.

Увидел Иван Иванович дядю и чуть тягу не дал: здоровенный, лохматый, ручищи — во!

Этот самый дядя накинулся на мельника, брата своего:

— Чего ты шлэндаешь, шибздик? Сказал тебе — уматывайся!

Иван Иванович на него:

— Ты вот что, милый гражданин, к тебе пришла Советская власть, и не бузи... Ребята, — это к партизанам, — будем здесь базироваться. А ты, браток, никуда не смей и носа сунуть!

Будочник аж руками развёл: такого нахальства он не ждал.

— Вы кто же такие будете, а?

— Партизаны советские, и твой брательник Петро — партизан. А ты вот кто?

— Российский человек! А что Петька партизан — чудно, ядрёна корень.

— Чучело ты! — взъерепенился уже сам Пётр Иванович.

Будочник поднялся да с размаху кулаком Петра... Тот и отлетел в самый угол.

Иван Иванович на него автомат.

— Застрелю! Не имеешь права, гад! Немецкий служака, холуй! — вскипел Суполкин. — Молись, сволочь!

Будочник замер, даже попятился, глаза налились кровью.

— Служака, говоришь?! Такой паскуде служить, да? Ты думаешь, немца я не бил? Идём, герой! И ты айда! — Он поддал под зад Петру Ивановичу и выскочил из полутёмной будки.

Забежал в сарайчик, зажёг фонарь, сунул его в руку Петру:

— Свети!

И начал расшвыривать землю. Стало вырисовываться что-то похожее на очертание человеческого тела.

— Смотри, партизан, смотри, Петя, на господина офицера.

— Это ты его, Гаврюшка? За что же?

— За длинные руки, ударил меня по лицу, сволочь... А другой — под скирдой лежит. Немец — дорожный техник... Всё выкаблучивался, душу мотал, паскудина... Но тот маленький, того с одного маха...

— Гаврила Иванович! Давай взорвём эшелончик — и к нам, в лес, в отряд? — предложил Иван Иванович.

— Нет. Тесно с людьми. Могу и побить кого, если не по душе мне. А эшелончик — дело стоящее... Я сам хотел, чего уж тут. Меня фашисты на прицел взяли — чую.

Быстро и без помех подготовили полотно к взрыву — подложили под него взрывчатку, а Гаврила Иванович стоял в стороне с зелёным фонариком: мол, всё в порядке.

На рассвете эшелон подорвался: десять вагонов со снарядами в сплошную труху. Снаряды ухали долго.

Гаврила Иванович мешок за плечи — ив дорогу, даже не попрощался. Партизаны благополучно вернулись в отряд.

Македонский обнял мельника:

— Вот это брат, гордись.

— Куда-то он теперь ушёл? — беспокоился Пётр Иванович.

— Такого скоро не возьмёшь. Будет диверсант-одиночка. Счастливого тебе пути... русский человек!

ХОРОШАЯ РАБОТА, СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

На западе, даже на ближних подступах к Севастополю, пока тихо. Но мы знали: часы этой тишины сочтены.

Днём и ночью гудят жаркие дороги под гусеницами немецких танков, вездеходов, чеканятся солдатские шаги: на Севастополь, на Севастополь...

В городе тишина, а в лесах и горах самая горячая партизанская «работа». Все на помощь Севастополю! И на дорогах к фронту летят под откосы гитлеровские машины, рушатся взорванные мосты...

Лагеря наши без людей, разве кто больной, да и тот, приткнувшись к дереву, неет охранную службу.

Партизанская летучая боевая группа — все поджарые, до черноты прокалённые крымским солнцем, с глазами в красных прожилках от переутомления и недосыпания — вернулись из очередного задания. Короткий рапорт командиру отряда, выкладка трофеев — особенно документов, которые уже ночью будут лежать на столах командующего Черноморским флотом адмирала Октябрьского и командующего Отдельной Приморской армией генерала Петрова, — получение патронов, гранат, пайков, умывание в студёной горной речушке, горячая похлёбка из тёртых сухарей и сон, глухой, как вечность.

Ровно десять часов над скрытой от глаз теснинкой раздаётся храп, а потом, как по команде, обрывается. Уже через час по крутой тропе ползёт змейка — снова в дорогу! Выше и выше, только на пике Демир-Капу она останавливается на короткую передышку, а потом ! — на звонкую яйлинскую тропу.

Если бы только была возможность запечатлеть на киноплёнку хотя бы один июньский день в крымском лесу, то можно было увидеть прелюбопытнейшую панораму: дорога, насквозь прокалённая солнцем, тающий асфальт с глубокими вмятинами от шин, гусениц и кованых солдатских сапог, по сторонам её шагающих потных немецких патрульных; увидеть бронемшины с вращающимися башнями, откуда пулемёты изрыгают временами лавину свинца; а за кюветами тянутся отделения полевых жандармов, обстреливающие кусты. Или можно было понаблюдать, как движется колонна немецких машин: впереди —

броневики, позади — лёгкие танки, а в небе — самолёты, утюжащие огнём подступы с гор; подальше от дороги ещё секреты, а ещё выше новый кордон — завалы и проволочные заграждения.

Двигался враг по занятой им земле. На всю эту сложную систему обороны дорог требовались полки, полки.

Но нас даже такие преграды остановить не могут: тридцать, а то и до сорока партизанских групп — «пятёрок», «четвёрок», «троек» просачивались сквозь все хитроумные засады, как вода сквозь едва заметные трещины. И летели мосты, и от снайперских пуль по немецким водителям падали в пропасти никем не управляемые семитонные «мерседес-бенцы».

Война на дорогах.

Я снова у Македонского — командира Бахчисарайского отряда. Брови у него выгорели, стали гуще, взгляд ещё острее, а та подкупающая улыбка, которая всегда и всех тянула к нему, пряталась за резкими чертами лица, на котором было сейчас куда больше решительности, чем привычного для нас добродушия.

Он пожал мне руку, сказал зло:

— Дешёвки, нагнали на станцию Бахчисарай эшелоны; разгружают их, как у себя дома.

— Что предлагаешь?

— У евпаторийцев получилось же, а? — хитровато щурит глаза.

Да, у командира Евпаторийского отряда Даниила Ермакова не операция, а музыка на весь Крым. Но в ней сколько сложных инструментов! Разведчики выяснили, что в районе деревни Ново-Бодрак замаскирована большая вражеская автоколонна и что она на рассвете следующего дня тронется на Севастополь. Заместитель командующего партизанским движением в Крыму Георгий Северский связался со штабом Северо-Кавказского фронта.

И всё началось: усиленная боевая партизанская группа с пулемётами и автоматами заранее подошла на подступы к главной магистрали.

Выстроенные в три ряда, накрытые брезентами, автомашины врага готовились к движению.

По команде водители нажали на стартёры, и земля заходила ходуном — до того мощно сотрясала её почти сотня дизель-моторов.

И никто из немецкой охраны даже не подумал посмотреть на небо, прислушаться к тому далёкому ровному гулу, что надвигался со стороны Чатыр-Дага.

Наши лётчики сразу же обнаружили колонну, и — пошло! Заход за заходом, а партизаны под бешеный ад взрывов ползком подбирались непосредственно к магистрали.

Не успели самолёты отбомбиться, а уцелевшие машины рассредоточиться, как по ошалелым фашистам ударило партизанское оружие.

Колонну начисто сожгли, разгромили. Это была хорошая работа, Севастопольская.

— Да, у евпаторийцев отлично получилось, — подтвердил я. — Выкладывай свой план, Михаил Андреевич.

Он был обдуман до конца, требовался лишь радист, да «добро» штаба фронта.

Я у Северского. Срочно зашифровали донесения и по радио в штаб — к маршалу Будённому.

Ответ был краток: действуйте, авиация будет!

...Чердачное перекрытие, пахнет солью, мышами, прелым зерном. В середине, под сушильной трубой, лежит молоденький солдат-радист, прикрыв ватником рацию. В углу, сдавленном железной крышей, вытянулся Иван Иванович Суполкин. Он всматривается в маленькие светлячки сигнализации, которые беспорядочно разбросаны меж путями. За станцией в мглистой дымке чувствуется затемнённый городок, недалеко силуэт водокачки.

У входной лестницы сидит Дуся, грызёт семечки, автомат на могучих коленях.

В огромной заброшенной пустоши поют сверчки, и под лёгким сквозняком дрожит вырванный из крыши железный лист. А за стенами пакгауза, в котором притаились партизаны, идёт своя, тревожная жизнь прифронтной станции. Кричит маневровый паровозик, сигналият водители машин, кое-где копошатся солдаты, под командой разгружая из вагона что-то тяжёлое, а на западе стеной стоит полыхающее зарево и слышны мощные вздохи кипящего в огне фронта.

Чьи-то шаги приближаются к пакгаузу. Дуся сжала автомат, сгибаясь всем корпусом, всматривалась в темноту.

— Тома? — тихо опросила она.

— Я, я... — Запыхавшийся румын поднимался по ветхой лестнице.

Общими усилиями довольно точно разобрались в том, что увидел

Тома за несколько часов разведки. А увидел он многое... На станции стояли эшелоны с пушками, снарядами, солдатами. Здесь, оказывается, новый основной пункт разгрузки всего того, что прибывало для немецких войск, воюющих под Севастополем, — ближе к фронту поезда не шли. Конечно, полно зенитных установок, но не так много, да и стоят пушки на видном месте.

Молодой радист данные отстучал прямо в штаб ВВС Северо-Кавказского фронта.

Партизаны ждали решающей минуты. Дуся подошла к Ивану, вложила застывшие от напряжения пальцы в широкую ладонь товарища и застыла.

Тома съёжился, потом ревниво сказал:

— Мои руки кипят, Дуся.

— Иди к нам, слышишь? — позвала Дуся, притянула к себе маленького румына.

— ...Самолёты в пути, через десять минут будут над нами, — доложил радист.

— Разойдись, быть подальше друг от друга! — приказал Иван Иванович.

С востока нарастал неумолимый гул. Рёв моторов полностью заполнил безбрежную темноту.

От горячих взрывов пакгауз задвигался и осел.

— Иван! Я боюсь! — крикнула Дуся, бросившись к нему.

— Дура! — Иван выругался и прижал к себе храбрую партизанку, впервые испытывающую бомбёжку.

На крышу с грохотом что-то падало, дрожали железные листы.

В нескольких метрах от здания вспыхнул огонь, стало видно как днём.

Горел эшелон со снарядами, угол пакгауза отвалился.

Самолёты улетели, но рвались снаряды, и всё били и били зенитки — с перепугу, наверное.

В дыму, под всё ещё рвущиеся снаряды, дождались рассвета. В четыре часа утра связались с пунктом наведения штаба ВВС; оттуда потребовали точного доклада о результате бомбоудара.

Всё хорошо стало видно — дым рассеялся. Горел какой-то склад, станция казалась полностью вымершей. Водокачка свалена набок, на путях каменные глыбы, груды горелых вагонов. Поперёк линий лежит паровозик, загоравшая выезда на Симферополь.

Истошно воя сиренами, к разбитой станции подскочили санитарные машины, по всему — румынские. Поглядывая на небо, санитары извлекали из вагонов раненых.

По щербатым, с вывернутыми камнями платформам в паническом ужасе шныряли железнодорожники.

Волна за волной шли к станции грузовики. На развороченной, пропахшей дымом и гарью земле появились немецкие и румынские сапёры. Под крик офицеров начались срочные восстановительные работы. До вечера расшвыряли с путей разбитые вагоны. Прошёл первый маневровый паровоз.

Фронт приказал оставаться на месте, ждать следующего вечера.

Тома стряхнул с себя пыль, причепурился, простился с товарищами и ушёл на разведку.

Целый день стучали кирки, шипели сварочные аппараты. Откуда-то привезли огромный подъёмный кран и подняли лежащий поперёк рельсов паровозик.

Иван Иванович сплюнул:

— Гады, моторные, вишь как скоро всё налаживают!

— Умеют, — добавила Дуся.

— Мы им ещё покажем.

Долго тянулся день, что-то подзадержался Тома Апостол. Дуся нервничала.

— Пойду поищу, — сказала Дуся.

Иван задержал её руку:

— Может, сам придёт.

— Иван, ты же понимаешь — не боюсь, это же не под бомбёжкой,

тут я в собственной карете, не впервые. Надо всё вызнать. Там, — кивнула на радиста, — ждут.

— Иди, Дуся.

И она ушла. Проходило время, Иван беспокойно вслушивался в каждый шорох. Потом, уже после войны, клял себя на чём свет стоит: «Эх, напрасно я её отпустил: чувствовал же — быть беде».

Потемнело, раздалось — наконец-то! — шаги.

— Дуся? — Иван бросился к лестнице.

— Тома пришёл.

— Что? Где так долго был, чёрт тебя взял! А Дусю, Дусю видел?

— Ой, Ивани... Зачем пускал, ай-ай... Сольдат один, солдат два, много...

Тома был задержан патрулём. Его привели в комендатуру, начали допрашивать: кто да откуда, почему от роты отбился? Врал напропалую, рассказал пару анекдотов. Заставили работать, накормили, а потом приказали скорее убираться к своим.

Тома доложил, где что разрушено ночным налётом, что успели уже восстановить немецкие сапёры. Много успели, гады.

Новая радиogramма пошла на Большую землю. Фронт приказал к двадцати трём часам оставить крышу и следовать в отряд.

А Дуси нет и нет. Молча сидел Иван Иванович.

— Пора, — торопил радист. Он сделал своё дело и теперь не чаял минуты покинуть этот опасный уголок. Его трясло от страха, он ещё настойчивее Ивану Ивановичу: — Наши вдребезги разбомбят, от пакгауза и мокрого места не останется. Почему сидишь как пень? Всех погубить хочешь...

— Да заткнись ты! — крикнул Иван Иванович.

Тома потянул его за руку.

— Надо марш, марш... Македонский ждёт.

— Эх, Дуся, Дуся...

В два часа тридцать минут снова бомбили станцию.

...Прошли многие годы. Вот что узнали о Дусиной судьбе.

Она спустилась с крыши, выбрав удачный момент, вышла на платформу — в лёгкой кофточке и в синей юбке, туфли на низких каблуках. Миновав разрушенную станцию, осторожно оглядываясь, зашагала к мастерским.

— Хальт! — крикнули сбоку.

Дуся рванулась в сторону.

— Хальт!

Засвистели пули...

Дуся, раненная в ногу, побежала поперёк пути... Ещё очередь, ещё одна пуля прожгла плечо. Дуся бежала, нырнула в высокий подсолнечник, истекая кровью, ползла... Ползла до самой ночи, а потом уткну-

лась лицом в землю... Очнулась под звёздным небом, приподняла голову и, повернув лицо в сторону Севастополя, во весь голос крикнула:

— Товарищи!

Она стонала.

— Кто это? — раздался недалеко женский испуганный голос.

Дуся повернулась на него. Потом, упираясь локтями в землю, подтянув ноги к животу, стала подниматься... Вот она на ногах, рванула на себе кофту и сделала шаг вперёд...

— Товарищ, вы ранены... — бросилась к ней женщина.

Дуся ещё раз шагнула и упала замертво.

БОЛЬШОЙ «ПРОЧЁС»

Четвёртого июля 1942 года на Крымском полуострове наступила тишина... Необычная, странная.

Привыкнув за двести пятьдесят дней к непрерывному боевому гулу на западе, мы напрягали слух, надеясь, что тишина эта — только миг, но... нет... Она больше не нарушалась. Иногда только раздавались автоматнo-пулемётные очереди и так же внезапно затихали.

Сводку Информбюро о бессмертно-героической обороне Севастополя и результатах её мы выслушали в тяжёлом молчании, некоторые сдержанно плакали. Горько было на душе.

Мелкими группами прорывались к нам через вражеские заслоны моряки — уцелевшие защитники города.

Ночью у костра мы перезнакомились с ними. Кто-то из них тихо запел:

Раскинулось Чёрное море.

Лишь волны бушуют вдали,

Огромно народное горе, —

Враги в Севастополь вошли...

Тишина, тишина. Тревожными взглядами смотрим на маленький радиоприёмник, который приносил свежие обнадеживающие слова. А теперь? Немецкие танки катятся к Ростову.

Моё усталое сердце не выдержало. Главный врач крымского леса — Полина Васильевна Михайленко — чуть ли не силой заставила сдать отряды под командование Георгия Северского и уложила меня в санитарную землянку очень близкого мне Бахчисарайского отряда.

Македонский ко мне внимателен, тактичен... Конечно, Михаил Андреевич тяжело переживает падение Севастополя. Увидел я его как-то одиноко сидящим на сваленном бревне и во все глаза глядящим на запад, где почти девять месяцев не стихал бой, он как бы вещал нам: «Севастополь жив!» А теперь лишь кричат одни кукушки, годы кому-то насчитывая. И столько в глазах его было ожидания, что казалось, вот-вот снова заговорит фронт, Михаил Андреевич крикнет на весь лес: «Жив родной город, бьётся!..»

Тихо в крымских лесах, тихо в крымских сёлах. И в поверженном Севастополе — тишина. Лишь догорает то, что не догорело в дни штурма.

По разведанным и сами фашисты оглушены этой тишиной, как рыба подводным взрывом. Они рвались в Севастополь и под его стенами

положили трёхсоттысячную отборную армию фон Манштейна. Бывают пирровы победы — пострашнее иного поражения.

Вовсю работают немецкие похоронные команды. Армада самолётов доставляет цинковые гробы, что выстроились на крымских аэродромах, в самую Германию.

Полки и дивизии срочно пополняются, вооружаются.

А что дальше? Как с нами, оставшимися теперь в глубоком вражеском тылу? Конечно, Гитлер теперь не будет в Крыму держать армию — громаду, бросит её на другие фронты. Как скоро он уберёт её с полуострова? Может, сперва — от края до края — прочешут наши леса, сделают ещё одну попытку ликвидировать партизанское движение в горах Таврии?

Да, да, Манштейн непременно попытается взять реванш за всю зимнюю кампанию против нас, в которой победа в конечном счёте всегда оказывалась на нашей стороне.

Только надо точно узнать: когда пойдут каратели в леса и горы, какой силой и с какими оперативными планами?

Наш командующий — Георгий Северский — мобилизовал лучших разведчиков.

Николай Осипович Эльяшев — молодой врач, был оставлен в Симферополе в качестве тайного партизанского разведчика. Он хорошо знал немецкий язык, а за время Севастопольской эпопеи овладел и румынским. Музыкант, приличный вокалист, с обаятельной, располагающей улыбкой, он умел общаться с людьми.

Он жил в оккупированном Симферополе, прокливаемый знакомыми, даже близкими, всеми, кто его знал до войны как рабочего парня из Керчи, которому Советская власть дала высшее образование.

Эльяшев вошёл в доверие к врагу как хороший хирург, как знаток края, человек с так называемой европейской культурой и русской душой (уж споёт в офицерской компании — любого артиста за пояс заткнёт!). Он и добытчик русских сувениров, всегда весёлый, остроумный. Карьера его была ошеломляющей: консультант всей санитарной службы румынских соединений, действовавших в Крыму, начальник лаборатории ведущего немецкого военного госпиталя.

Ни один гестаповец, ни один контрразведчик из румынской сигуранцы даже мысленно не предполагал, что «блистательный русский доктор господин Эльяшев» работает на партизанский лес, на Советскую власть, что руководит он великолепно организованной разведывательной группой, что от; «его тянутся в лес надёжные тропы связи. Эльяшеву доверяли, мало того, считали своим человеком и не скрывали от «друга» своих секретов.

И вот в руках командира Третьего партизанского соединения Георгия Северского точные данные: Большой «прочёс» начнётся утром 16 июля. Против нас — восьмисот партизан под командованием Северского — выступят в полном составе 18-я пехотная дивизия, 1-я горнострелковая румынская дивизия, многочисленные полицейские формирования.

Как же противостоять этой многотысячной силе?

Что же делать, какие манёвры предпринять? Эти вопросы нависли над всем заповедным лесом, в котором стояли наши отряды. Их решать Георгию Северскому, его комиссару Василию Никанорову, командирам отрядов: Македонскому, Зинченко, Макарову, Ермакову, Чусси...

Ещё одна важная весть от Эльяшева: наступление будет стремительным. Цель карательных полков — замкнуть партизанские отряды в кольцо, штурмующими группами вытеснить их из заповедных лесов, подпереть к оголённому каменистому Хейроланскому хребту и расстрелять всей огневой мощью.

Командиры и комиссары на полянке над речушкой Пескура. Вокруг высокие кроны чашевидных сосен, душно, как в предбаннике. Присутствующие на этом оперативном сборе курят, посматривают на Северского и Македонского, что стоят в стороне и молча глядят друг на друга. Чувствуется: решение ещё не найдено.

Георгий Леонидович Северский — кадровый командир пограничных войск. Судьба свела меня с ним давно — в 1932 году, в Дагестане. Я тогда учился на младшего командира в горнострелковом полку, а он, Северский, отбывал сверхсрочную службу в дивизионе пограничников — нашем соседе. Свела нас сцена гарнизонного клуба. Оба в актёры записались, репетировали.

Б перерыве Северский бегал в буфет — у него всегда были деньги, а я слюнки поглатывал. Однажды он толкнул меня в плечо:

— Ешь!

Французская булка и чайная колбаса — деликатес, о котором я так часто мечтал. Кормёжка в полку была довольно скудная, сидели больше на сушёной каспийской рыбе, от которой меня мутило.

Прошли годы, я стал партизанским командиром. У меня неплохая зрительная память. Как-то побывал в лесничестве Верхний Аппалах, увидел высокого, подтянутого человека, без промедления крикнул:

— За булки спасибо!

Северский посмотрел на меня и ахнул:

— Дагестан, Буйнакск, господи!

Артистическая натура сказывалась здесь, в лесу. Северский команды отдавал с задором, с какой-то лихостью, не теряя чувства юмора.

Его привлекал Македонский. Как это он, Михаил Андреевич, мог двести пятьдесят дней держать большой партизанский отряд под Басман-горой, куда идёт так много дорог, где и прятаться просто невозможно?

— Манёвр, — улыбался Михаил Андреевич.

И сейчас, перед ответственным решением, Георгий Леонидович дотошно допрашивал Македонского о самых незначительных подробностях его необыкновенно смелых маршей под носом у карателей.

Северский отошёл от Македонского, уместился на трухлявом бревне, одним концом свисающем над речушкой. Он бросал в высохшее русло камушки, сосредоточенно молчал.

А кругом тишина, только редкий шелест столетних крон. Вдруг Северский поднялся, чётко приказал:

— Лейтенанта Вихмана ко мне!.. Так где фашистский спецбатальон?

— Уже на Верхнем Аплалахе, — доложил лихой моряк Вихман.

Всем было точно известно: первая волна карателей насквозь прочесала севастопольские леса, по складочкам оцепала все земные морщины, танками проутюжила яйлинские вершины.

Шли они так: батальон к батальону, интервал между ротами — горный олень не проскочит.

Шли фашистские батальоны от яйлы до автомагистрали Симферополь — Бахчисарай, шли, заглядывая в каждую расщелину, взрывая выходы из пещер. За первой линией карателей, в двух километрах от неё, шла вторая, а за ней и третья.

И где-то между ними подкрадывался особый засекреченный батальон. Он должен взять в плен штаб Северского, радистов, начальников всех служб.

Северский призывно махнул рукой: командиры и комиссары окружили его и Вихмана. Чеканя каждое слово, он сказал:

— Я принял решение! Начать немедленный марш на Хейроланский хребет!

Комиссар Никандров удивился:

— Но там нас ждут эсэсовцы!

Пусть ждут себе да поджидают. Мы туда не дойдём, чуть-чуть не дойдём. Мы станем тенью фашистов... Ведь на собственную тень не наступишь. Первым шагает отряд Македонского, потом Симферопольский... По отрядам марш, про план молчок! Вихман остаётся.

Северский уважал Леонида Вихмана за храбрость, за трезвый ум. Сейчас это доверие было решающим, может, потому командир позабыл об официальнойности, сказал негромко:

— Лёня, друг... Оставляю тебя и твоих моряков здесь. Будешь встречать спецбатальон по-севастопольски. Ясно?

— Так точно, Георгий Леонидович.

— Рискуй на полную катушку — разрешаю! Вот так, браток. — Северский обнял лейтенанта, по-братски поцеловал в губы. — Надеюсь, Лёня.

...В тишине, осторожно ставя ноги на полную ступню, шагают сотни партизан.

Парашютными лоскутами обмотана обувь, обмотаны и котелки, и всё, что может звякать, греметь, стучать...

Зной. Идут, идут лесные бойцы, пот застилает глаза. Идут, а по бокам главной колонны — дозорные, самые храбрые, самые опытные, у кого стальные нервы, кто умеет последний патрон истратить на себя.

Тропа исподволь опускается к Депорту — поляне с горелыми развалинами бывшей турбазы. Дорога рассекает её на две половины, за

поляной лес, а за ним — Хейроланский хребет. Там тайная огневая линия фашистов. Она ждёт партизан.

Северский поднял руку — все остановились, замерли.

Тишина!

В неё медленно вплетаются чужие звуки. Они приближаются всё новыми и новыми шорохами, шумами. Это надвигается первая цепь карателей.

Тиканье ручных часов сливается со стуком сердца.

Надо без промедления, вихрем проскочить аспортовскую поляну.

Сумеем ли?

Северский с автоматом в боевом положении твёрдым шагом сошёл на поляну, рядом с ним комиссар Никаноров, группа автоматчиков. Потом вышел на поляну Македонский, спокойно повернулся назад, махнул рукой... И вся партизанская масса бесшумно пересекла опасную поляну и оказалась с противоположным лесу.

Ровно через пять минут после партизан на поляну выскочила немецкая моторизованная разведка, оглянулась, швырнула в небо несколько ракет.

Огромная солдатская масса заполнила поляну до отказа. Немцы окончательно распарились под тридцатипятиградусной жарой. Пилотки долой. А кое-кто и гимнастёрки поснимал, разулся.

Немцы окружили себя пулемётами, глядящими на леса, и начался большой привал.

Довольно сподручно разгромить этих измождённых крутогорьем и солнцепёком карателей, но делать этого ни в коем случае было нельзя. Попробуй только — заработает вся карательная машина в составе десятков тысяч солдат и офицеров, и ни одному партизану несдобровать.

Два часа отдыхали каратели первой колонны, лишь слегка углубившись в лес; два часа в километре от них таились партизанские отряды, не выдавая себя ни единым вздохом.

Неожиданный огневой шквал вспыхнул на Пескуре.

Вихман?

Сухие гранатные взрывы чередовались с треском автоматов, а минут через пять-шесть глухо что-то охнуло, ещё раз, ещё...

— Наши мины? — Комиссар посмотрел на Северского. — Молодец Лёня, даёт жизни... Всем приготовиться... — Команда была дана шёпотом, пошла по всему строю.

И немцы поднялись и зашагали... за отрядами.

Партизаны выше, каратели за ними... Ещё две тысячи метров — и Хейроланский хребет. Немцы, идущие за партизанами, перекидываются ракетами с теми, кто там, за Хейроланом.

Партизаны дошли до древней оборонительной линии — развалин из бутового камня. Она довольно чётко легла под хребтом, концы её загибались к северо-востоку. Не то скифы, не то тавры века назад,

наверное, сдерживали тех, кто пытался через хребет прорваться в просторную Альминскую долину, синеющую за спиной Хейролана.

Стоп! Северский задержал движение, приказал, соблюдая полную тишину, залечь за потемневшими камнями. Каждый выбирал рубеж поудобнее, углубляя его чуть ли не голыми руками — лопат сапёрных солдатских было мало.

Может, это и есть последняя линия жизни?!

Немецкие разведчики уже метрах в трёхстах — с них не спускали глаз, — рассматривают натоптанные тропы.

И в это самое время снова раздаются взрывы на Пескуре — глухие, но мощные, — а потом оттуда же доносится дробь автоматов.

Вдруг взлетают ракеты, немецкие разведчики стоят в нерешительности, а потом все сразу начинают скатываться в сторону Депорта.

Непонятно!

Позже выяснили: каратели решили, что партизаны обвели их вокруг пальца: для обмана выделили только небольшую группу, которая шла на Хейролан, а основная масса каким-то необычным манёвром вышла из-под преследования и осталась на Пескуре.

Солнце лизнуло Аппалахский хребет и быстро скатывалось за него. Лес мгновенно сменял краски, темнел и окутывался в сумеречную пелену.

Наступила южная ночь — многозвёздная, чернильной темноты в ущельях и с белёсыми отсветами на косогорах.

Вдруг лес вспыхнул огнями — это запылали костры карателей. Над всем табором прыгали ракеты самых различных цветов. Их швыряли беспрестанно, боясь даже мгновенной паузы. Где-то на Чучельском перевале расплывался багровый огненный столб — горел лес, несло смрадом.

Надо было немедленно прощупать лазейку, которая позволит просочиться в тыл первой немецкой цепи.

Македонский зовёт к себе знаменитого проводника Дмитрия Кособродского, патриарха большущей династии саблыньских крестьян.

Дядя Дима — как мы его называли — стоит перед Македонским. Поджарый, с прямым острым носом, до удивления маленьким ребячьим подбородком.

— Ну, дядя Дима, понимаешь обстановку...

— Трудно.

— А если вдвоём пока рискнём, а?

— Что ж, без риска нельзя, — обыденно говорит Кособродский, забрасывает за плечо карабин. — Шагаем, Македонский.

Они пошли.

Ущелье узкое-преузкое, забитое буреломом и сырое, как могила.

У Дмитрия Дмитриевича кошачьи глаза — он видит ночью. И надо быть волшебником, чтобы тихо проползти по дну полусухого русла, на берегах которого стояли немцы, перекликаясь друг с другом.

Проползли метров триста, повернули назад, доложили Северскому: «Можно проскочить!»

Северский тихо собрал командиров.

— Даю десять минут для предупреждения каждого партизана в отдельности: кто нарушит тишину, будет расстрелян.

И колонна поползла, как змея — бесконечно длинная, гибкая. Она жалась ко дну теснины, почти не дышала, ползла по-пластунски, боясь шевельнуть веточку.

Восемьсот партизан после полуночи оказались на Конке — так назывался один из крутых уступов горной гряды. Это уже был тыл первой карательной линии.

Спали с насторожённым слухом, улавливали цокот копыт на лесных дорогах.

Но одно чудо уже совершилось: первая карательная волна прошла через партизан, так и не задев их.

Впереди вторая волна. Она уже накатывалась с Чучельского хребта, шумела, швыряла ракеты.

И опять отряды спускаются на Депорт. Ни на секунду не ослабевает внимание, наши разведчики — наиболее опытные партизаны — видят лучше, чем видит лесной зверь, слышат тоньше, чем горная косуля.

Замерли, а через минуту засекли два эскадрона румынской кавалерии. Она на рысях проскакала по Аспортотской дороге. Где-то невдалеке загудели моторы... Северский с ошеломляющей быстротой перебросил колонну снова в сторону Хейролана. Едва успели войти в лес, как фашистские машины заполнили поляну Депорт. Партизаны опять-таки залегли на рубеже древней оборонительной линии. Одним словом, всё началось, как вчера.

Вторая волна карателей накатывалась ощутимее. Приготовились к последнему бою — другого ничего уже не дано.

Солнце поднялось над Чатыр-Дагом, партизаны разгружали карманы от гранат, вставляли в «партизанскую артиллерию» запалы.

И вдруг, как из-под земли, появился Леонид Вихман.

— Важные документы! — тяжело переводя дыхание, сказал моряк, протягивая командующему полевую сумку, и тут же замертво уснул.

Позвали переводчика. В числе ценных бумаг была обнаружена оперативная карта Большого «прочёса» заповедника. С немецкой пунктуальностью были расписаны пути всех карательных батальонов, указано время их появления в том или ином пункте.

— Скорее переводи, — требовал Северский.

«16.00. Четыреста шестнадцатый батальон, остановка Аспорт, привал два часа».

Точно! Так вчера и было.

«Контроль дороги Аспорт — Бешуй... Кавалерия и танковая группа Тупешты».

Да, да, сейчас на Аспорте танки.

А вот данные о силе первой наступательной волны. «В первой колонне участвует 23-й батальон горных стрелков, 3-й батальон горных стрелков, 14-й пулемётный батальон, резервная группа и 2-й батальон горных стрелков. Каждый батальон проводит операцию по прилагаемой схеме; места, не охватываемые основным движением батальонов, прочёсываются отдельными группами. В каждом батальоне иметь 35 пулемётчиков, приданных из пулемётного батальона. Указанные пулемётчики группами двигаются параллельно движению, охватывая весь прочесываемый район...»

В трофейной полевой сумке нашлось приложение к основному приказу, которое разъясняло: вторая колонна не должна двигаться далее Аспорта, она обязана обеспечить тыл Хейроланской группировки.

Вот это да! Неужели?

В плане так, именно так, а что будет на деле?

Северский собрал молниеносно командирский совет, познакомил его с содержанием трофейных документов, упрямо спросил:

— Как думаете, товарищи: вторая карательная волна пересечёт Аспорт или нет?

Опыт девятимесячной борьбы говорил, что нет.

Комиссар соединения уверенно сказал:

— Немцы педантичны, точь-в-точь будут придерживаться плана.

Командиры с этим согласились, Северский окончательно решил:

— Будем загорать на месте!

Два мучительных дня провели на скате Хейролана. Ночью истязал холод, а днём нещадно жгло солнце. Под мелким кустарником было душно, испепеляла жажда — не было вокруг ни единого источника.

Трофейные документы не подвели. Вторая волна карателей не пересекла Депорт, а первая, наверно удивлённая, что в раскинутые ею на десятки километров по фронту сети не попала ни одна рыбёшка, торчала на своём рубеже, не зная, что предпринимать дальше, ибо по плану всё, что положено было совершить, совершено.

Неожиданно обнаружилась третья волна — о ней ни Эльяшев, ни другие подпольщики не предупреждали. Она — вроде чистильщика и состояла из полицейских батальонов и полков румын.

Колонна стремительно шла к Депорту и вот-вот могла оказаться с глазу на глаз с донельвья измотанными партизанскими отрядами, жаждущими отдыха.

Наступал критический момент, он был не учтён и потому страшен.

Решать надо было моментально, сию же минуту.

— Где немцы? — уточнял Северский.

Иван Иванович и Тома — после гибели Дуси они не разлучались — кинулись в разведку.

Ребята решительные, пройдут там, где и дикий кабан не пролезет. Уже через час Иван Иванович, запыхавшись, приполз к Северскому:

— Фрицы покидают заповедник, убей меня бог...

Вернулась разведка Симферопольского отряда. Его командир Христофор Чусси доложил:

— Немецкие батальоны около Саблов, маршируют на Симферополь.

Но третья колонна пересекла Депорт.

Выход один: прорыв!

Отряд Македонского в авангарде.

Слегка развернувшись по фронту, бахчисарайцы идут на Депорт, навстречу полицаям и румынам.

За Бахчисарайским отрядом — Севастопольский под командованием Митрофана Зинченко, за ним — Симферопольский...

Вот уже слышны румынские голоса.

Партизаны столкнулись лицом к лицу с ротой румын. Появление лесных бойцов настолько ошеломило «храброе» войско Антонеску, что оно застыло, как внезапно замороженное.

Македонский подтолкнул Тому, шепнул: «Поздоровайся!»

Из колонны румын отделился офицер, ответил на приветствие Апостола.

Македонский через Тома: «Предлагаю мирно разойтись».

Румыны тупо молчали.

Тома:

— Командир приказал в течение десяти минут оставаться на месте, никуда не двигаться.

Офицер — наконец-то! — обрёл дар речи:

— Прошу об эпизоде умолчать. Мы согласны не двигаться.

Тома, пошептавшись с Македонским:

— Мы будем молчать.

Так и разошлись, каждый по своей дороге.

Девятнадцатого июля 1942 года «генеральный прочёс» закончился полным провалом немецкого командарма фон Манштейна. Но газета «Штимме дер Крим», издававшаяся в Симферополе на русском языке, кричала: «Партизанские отряды в Крымском заповеднике уничтожены, остатки их преследуются местными подразделениями».

После двухдневного отдыха Северский собрал на полянке у Песку-ры командиров и комиссаров отрядов:

— Митрофан Зинченко — снарядить две боевые группы с заданием погромче погрометь в Байдарской долине; Македонский — разворачивает операции в двух долинах: Альминской, Бельбекской; Христофор Чусси — действует на Алуштинском перевале. Командир Евпаторийского отряда Даниил Ермаков в районе...

Боевые группы уходили на задание.